

М. А. ДАВЫДОВ

Оппозиция

Его



Величества

Р__Г__Г__У

М. А. ДАВЫДОВ

*Оппозиция
Его*



Величества

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ . МОСКВА 1994



ББК 63.3(2)47

Д13

Иллюстрации на обложке:

- Александр I (1777 - 1825 гг.).

Гравюра Ж. Меу по оригиналу А. Беннера. 1817 г.

На 4 сторонке обложки:

- Капитуляция Парижа 31 марта 1814 года.

Гравюра неизвестного художника. 1 четверть XIX в.

- Ермолов А.П. (1777 - 1861 гг.).

Гравюра И. Пожалоыстана по оригиналу Дж. Доу. 1875 г.

- Восстание 14 декабря 1825 года на Сенатской площади.

К.И. Кольман. 1830-е годы.

Давыдов М.А.

Д13 **Оппозиция Его Величества: Монография.** М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1994. 191 с.

ISBN 5-7281-0022-8

Вторая половина царствования Александра I (1815 - 1825) традиционно связывается с противостоянием аракчеевцев и декабристов. Между тем содержание эпохи куда сложнее. Это время, когда после победы над Наполеоном происходит переосмысление роли и значения России в мировой истории, формируются некоторые весьма важные стереотипы мышления русского дворянства, российской бюрократии, в измененном виде дожившие до наших дней.

Автор пытается увидеть эпоху глазами генералов М.С. Воронцова, А.П. Ермолова, Д.В. Давыдова, А.А. Закревского, П.Д. Киселева, И.В. Сабанеева, которые входили в элиту русского общества первой половины XIX в.

Д 0503020200(4309000000)-033 без объявл.

ОТ8(03)-94

ББК 63.3(2)47

ISBN 5-7281-0022-8

© М.А. Давыдов, 1994

© Российский государственный гуманитарный университет, 1994

Введение

В последние годы все отчетливее вырисовывается истинное значение второй половины царствования Александра I (1815—1825), которое заключается не только и не столько в противостоянии реакции и революции.

Вплоть до середины 50-х годов XIX в. это был едва ли не последний приступ Власти к серьезным преобразованиям. Принципиально важно, что проблемы коренных реформ государственного строя России, освобождения крестьян первым подняло самодержавие, сам император Александр, а вовсе не «сто прапорщиков».

Как известно, царь не однажды говорил, что одним из главнейших препятствий на пути реформ в России является отсутствие «людей», т.е. помощников, единомышленников; реформы «некем взять». Когда в 1814 г. Г.Р. Державин приехал поздравить Александра с победой в войне против Наполеона, тот отвечал ему: «Да, Гаврила Романович, мне Господь помог устроить внешние дела России, теперь примусь за внутренние, но людей нет». — «Они есть, Ваше Величество... их искать надобно», — ответил Державин.

Кто был прав — император или сановный поэт?

Понятно, что у Александра были единомышленники — будущие декабристы, но не о них речь, ибо они еще молоды и невлиятельны. А вот имелись ли в элите бюрократии того времени люди, на которых император мог бы опереться в задуманных преобразованиях?

Предлагаемая книга — попытка ответить на этот вопрос.

Мы привыкли к тому, что любое явление, событие, личность занимают определенное место в системе координат «хорошо — плохо», и пытаемся установить для себя точки поляризации максимального «добра» и максимального «зла». Это, хотя и не всегда научно, но вполне оправданно. И неудивительно, что

неизменно притягательный период — от Отечественной войны 1812 г. до 14 декабря 1825 г. — для нас прочно связывается с декабристами и Аракчеевым. Рядом с ними мы еще различаем несколько фигур — Пушкина, Карамзина, Вяземского и немногих других. Однако помимо них существовала и сотысячная масса русского дворянства, о которой мы не то, чтобы забываем, просто считаем, что содержание эпохи в основном исчерпывается противостоянием аракчеевцев и декабристов. Между тем противостояние это — хотя и важная, но только часть ее. Вот почему нам не обойтись без анализа породившей эти силы среды, т.е. русского дворянства конца XVIII — начала XIX в. Познание необычного требует уяснения порога обыденности. Всегда важно понять, насколько, условно говоря, факт жительства Диогена в пифосе отражал стремление если не греческих философов, то по крайней мере жителей города Синопы к минимуму житейских удобств.

Каждый век настолько многообразен в своих проявлениях, что практически любой человек в определенной мере может считаться типичным представителем своего времени. Конечно, само определение «типичный представитель», усвоенное нами на школьных уроках литературы, не слишком научно. И все же нельзя отрицать, что есть люди, которые полнее, глубже других «вбирают» в себя время, в которых наиболее выпукло отражаются те или иные черты эпохи.

Именно таковы М.С. Воронцов, Д.В. Давыдов, А.П. Ермолов, А.А. Закревский, П.Д. Киселев и И.В. Сабанеев. Люди очень популярные в свое время, они принадлежат к числу наиболее ярких представителей недекабристской и неаракчеевской России, к числу тех, кто как бы «несет» эпоху, как опоры несут мост. Они относятся к элите русской армии первой половины XIX в. не только по своим чинам и положению, не только благодаря своему участию в великих войнах начала века, но и по тому влиянию, по той нравственной силе, которые далеко не всегда сопрягаются с должностью военачальника.

У каждого времени свои герои и свои властители дум. В военной империи, каковой являлась Россия, ими становились в первую очередь представители армии. Однако лишь в редких случаях эти два в принципе синонимичных понятия могут быть отнесены к одной личности. Так, Милорадович был героем, но властителем дум не был. А вот Ермолов, как и Воронцов, был и тем, и другим. Для этого требовалась не только блестящая боевая репутация, но и яркость, нестандартность натуры (превосходящей по своей незаурядности тогдашние весьма высокие средние критерии талантливости) в соединении с достаточно видным служебным положением. Мнение таких людей котирова-

лось в обществе очень высоко, на таких людей равнялись. С ними не мог не считаться сам царь. Каждый из них — Личность, но вольно или невольно они образовывали небольшие группы, выражавшие определенное общественно-политическое направление.

В рассматриваемый период верхушка генералитета русской армии делилась на две группировки. Одна ориентировалась на Аракчеева, другая — на князя П.М. Волконского, начальника Главного штаба, единственного конкурента Аракчеева. Если представители первой группы были, по выражению Ермолова, «в полном рабстве» у временщика, то во втором случае нужно говорить именно об ориентации на Волконского, олицетворяющего антиаракчеевское течение в армии на самом высоком уровне. К этой группировке как раз и принадлежали наши герои.

Интересно попытаться увидеть их глазами один из важнейших периодов русского XIX в. — преддекабристское десятилетие, 1815—1825 гг. Позиция каждого из них заслуживает отдельного исследования, но важно выявить и их «коллективную» точку зрения на главные события и проблемы эпохи, определить их отношение к внутренней и внешней политике России в целом. Разумеется, шесть человек — это только шесть человек, но именно они говорят не только от своего имени.

Анализ их взглядов, возможно, позволит критичнее взглянуть на некоторые застарелые и сравнительно новые стереотипы. Не секрет, например, что оценки Ермолова и Киселева в историографии достаточно разноречивы, а Воронцов, Закревский и Сабанеев предстают реакционерами, и только ими. Справедливы ли столь категоричный приговор?

«За несколько дней до 14 декабря сообщил мне товарищ мой лейб-гвардии Измайловского полка подпоручик Кожевников о тайном обществе, которого цель, говорил он, стремиться к пользе отечества. Но так как в таком предприятии главнейшая сила есть войско, то мы — части оно и как верные сыны отечества должны помогать сему обществу, тем более что оно подкрепляется членами Государственного совета, Сената и многими военными генералами. Из членов сих названы им были только трое: Мордвинов, Сперанский и граф Воронцов, на которых более надеялись, о прочих он не упомянул. Завлеченный его словами и названием сих членов, я думал, что люди сии, известные всем своим патриотизмом, опытностью, отличными чувствами, нравственностью и дарованиями, не могут стремиться ни к чему гибельному,

* Разумеется, среди генералов были и те, кто занимал особую или промежуточную позицию между этими двумя группами.

и дал слово участвовать в сем предприятии» (из показаний на следствии декабриста А.Н. Андреева)¹.

«Не знаю, чтоб кто действительно из высших государственных лиц находился в обществе, но иногда слышал имена генералов Ермолова, Воронцова, Мордвинова» (из показаний декабриста П. Колошина)².

«...Так как мы все друг друга обманывали и завлеклись в пропасть адскую, то было всегда ввиду, чтоб в особенности молодым, вновь вступающим, рассказывать про значительных людей, что они очень либерально мыслят. Вот я часто называл адмирала Мордвинова, князя Голицына, князя Меншикова, Закревского и многих и многих прочих» (из показаний декабриста А.С. Горожанского)³.

«Слышал... о многих важных государственных людях, быть то бы покровительствующих обществу, как-то об генералах: Ермолове, Орлове, Киселеве и Фон-Визине» (из показаний декабриста С.М. Палицына)⁴.

Показания такого рода — не редкость в материалах следствия по делу декабристов. И тот факт, что среди «высших государственных лиц», на которых — пусть и гипотетически — рассчитывали декабристы, упоминаются четверо из героев нашего рассказа, весьма важен, ибо стимулирует интерес к изучению сюжетов, которые почему-то считаются ясными, в то время как их исследование практически не начиналось. Действительно ли Ермолов находился в «оппозиции режиму», а Киселев был двурушником, одновременно дружившим с будущими декабристами и шпионившим за ними? Правильно ли при оценке Воронцова исходить из пушкинской эпиграммы, а Закревского называть сторонником муштры и переносить на 20-е годы мнение, сложившееся о нем в 40—50-е? Достаточно ли того факта, что Сабанеев возглавлял следствие по делу В.Ф. Раевского, для безоговорочного отнесения его к скалозубам? Кто вообще эти люди, которые не пошли ни с Аракчеевым, ни с декабристами?

Попытаемся ответить и на эти вопросы.

* * *

Книга построена в основном на письмах главных героев друг другу за 1815—1825 гг. Основная часть используемой переписки опубликована зятем Закревского князем Д.В. Друцким-Соколинским в 73-м и 78-м томах сборника Русского исторического общества и П.Б. Баргеновым в 36, 37 и 39-м томах «Архива князя Воронцова»⁵. Общее число писем превышает 400, причем около двух третей их адресовано Закревскому.

Переписка эта обладает по меньшей мере двумя достоинствами. Во-первых, она весьма откровенна.

«Я буду писать также и по почте... разумеется, не на крепком бульоне»⁶ — так в 1822 г. обозначил проблему достоверности и репрезентативности эпистолярных источников того времени Д.В. Давыдов. В стране, где перлюстрировались письма членов императорской фамилии, способ доставки корреспонденции прямо определял ее содержание. Наши герои имели уникальную возможность писать все, что вздумается. Должность дежурного генерала Главного штаба, занимаемая Закревским, позволяла ему и его друзьям вести переписку через развозивших служебную корреспонденцию фельдъегерей, которые были не только самыми быстрыми, но и самыми надежными почтальонами.

Второе достоинство этой переписки — то, что это комплексы писем, насчитывающие десятки корреспонденций за ряд лет. Понятно, что анализ комплексов дает возможность куда точнее судить о колебаниях настроения корреспондентов, чем отдельные случайные письма. Здесь соотношение примерно такое же, как между археологическим комплексом и находками из отвала.

Переписка — не только исторический, но и литературный памятник эпохи, сохраняющий ее аромат, который невозможно передать никаким пересказом. Чем заполнена переписка военных людей? Служебными новостями, новостями о друзьях и знакомых всех категорий, сообщениями о себе и мнениями об окружающей действительности. Но постепенно из писем вырастает Эпоха — с проблемами, которые время разжаловало в пустяки, и мелочами, произведенными в проблемы, с радостной самоуверенностью незнания и тревогой вещей предчувствий.

ИЗ ПОСЛУЖНЫХ СПИСКОВ ^{*}

Михаил Семенович Воронцов (1782—1856), граф, с 1845 г. — светлейший князь, фельдмаршал.

Судьба благоволила к нему при жизни больше, чем к другим, с внешней стороны, конечно, и после смерти он как будто расплачивается за это. Главную роль, разумеется, сыграли его злосчастные отношения с Пушкиным. Однако достаточно беглого взгляда на жизненный путь М.С. Воронцова, чтобы убедиться в том, что он не «умещается» в хлесткую эпиграмму, благодаря которой он преимущественно и известен.

По рождению Воронцов принадлежал к элите русского дворянства. Канцлер Империи А.Р. Воронцов приходился ему родным дядей, знаменитая княгиня Е.Р. Дашкова — родной теткой. Его отец — граф Семен Романович — одна из виднейших фигур русской истории конца XVIII — начала XIX в.; в течение многих лет был послом России в Англии и снискал уважение всей Европы. Михаил Семенович получил образование в Англии, и образование блестящее. Вообще англофильство было семейной чертой Воронцовых (отсюда — «полумилорд»).

Военную службу он начал в 1803 г. на Кавказе, быстро заслужил Георгия 4-й степени за то, что вынес из-под огня раненого товарища — будущего героя войны с Персией Котляревского. Дебют его как офицера весьма показателен. Подобно другим отпрыскам знаменитых фамилий, Воронцов уже в 18 лет был камергером, т.е. имел чин IV класса по Табели о рангах. В таких случаях юные вельможи, переходя в военную службу, нередко сразу же становились генерал-майорами, а камер-юнкеры — полковниками. Однако Воронцов не пожелал воспользоваться этой

* Нижеследующие биографические справки лишь обозначают основные вехи жизни наших героев и отнюдь не претендуют на сколько-нибудь полное описание личности каждого из них.

привилегией (отмена ее Сперанским в 1809 г. явилась одной из причин ненависти к нему сановного Петербурга). При содействии дяди-канцлера двадцатилетний камергер отправился воевать поручиком. В 1805—1807 гг. он участвовал в кампаниях против Франции, в 1806 г. стал полковником. В 1809—1811 гг. во главе Нарвского полка Воронцов воевал против турок. Характерно, что именно под его командованием полк вернул себе боевые знамена, которых его лишили в последнюю прусскую кампанию. В 1810 г. Михайл Семенович получил чин генерал-майора.

Отечественную войну Воронцов встретил, командуя Сводно-гренадерской дивизией, что считалось более почетным, чем командование обычной пехотной дивизией. В составе 2-й армии князя П.И. Багратиона он сражался при Мире, Романове, Дашковке и у Смоленска. При Бородине дивизия обороняла Багратионовы флеши, на которые пришелся главный удар французов. К 12 часам дня из 4 тыс. человек в живых едва ли оставалось 400 (по другим данным — 300). Воронцов сам водил гренадеров в атаку и был тяжело ранен в рукопашной. Когда его привезли в Москву, он увидел 200 подвод, на которые было погружено имущество их московского дома. Михаил Семенович сделал то, что Л.Н. Толстой «заставил» сделать Ростовых в «Войне и мире», — ценности были брошены, а на телеги погрузили раненых. До конца войны более 300 солдат и примерно 50 офицеров лечились во владимирском имении Воронцова за счет хозяина. В своих кратких воспоминаниях Воронцов лаконично пишет об этом: «Значительное количество моих друзей и товарищей по несчастью согласились поехать со мной и мы добрались туда на своих собственных лошадях на 3-й день».

С осени 1812 г. Воронцов снова в строю. В заграничном походе он особенно отличился в сражении при Краоне (1814), где в течение целого дня сам Наполеон, причем во главе превосходящих сил, не смог сломить его сопротивления. Воронцов лично командовал огнем пехоты и артиллерии, бивших по врагу с дистанции 200—400 м, и как всегда служил образцом редкого мужества и хладнокровия. Наградой ему был Георгиевский орден 2-й степени.

Разумеется, в довольно быстром продвижении тридцатидвух-летнего генерал-лейтенанта проще всего видеть следствие могущества фамилии. Но это не так: карьера Воронцова не представляла собой чего-то необычного для того времени. В любом случае он был вполне достоин заслуженных им почестей. Не случайно даже не любивший его Ф.Ф. Вигель говорил, что он и Ермолов были кумирами русской армии, хотя им и не суждена была роль Суворова и Потемкина.

В 1815—1818 гг. Воронцов командовал русским оккупационным

корпусом во Франции, в 1820 г. стал командовать 3-м корпусом. С 1823 по 1844 г. он был новороссийским генерал-губернатором и немало сделал для благоустройства громадного края, расширения торговли через южные порты, развития земледелия, виноделия, лесоводства, строительства новых дорог и т.д. В том же направлении он действовал и на посту наместника Кавказа (1844—1854).

Полагаем, у читателей будет возможность убедиться в том, что нельзя смотреть на Воронцова глазами пушкинистов.

Денис Васильевич Давыдов (1784—1839), генерал-лейтенант.

Это имя не нуждается в рекомендациях. Посмертная слава Давыдова, пожалуй, превосходит прижизненную, что бывает нечасто. Увы, далеко не всегда расхожее представление о нем соответствует действительности. Нелегко разрушить стереотип, на создание которого он положил всю жизнь: партизан верхом на Пегасе, крытом попоной Ахтырского гусарского полка. Конечно, всякая маска рано или поздно прирастает к лицу, и все, о чем писал Давыдов в своих гусарских стихах, — кутежи, проказы и т.п. — имело место. Но не в этом главное. Был человек, которому пришлось больше страдать, чем радоваться. Был герой, чье геройство не хотели замечать. Был офицер, много раз обойденный по службе. Был один из способнейших генералов русской армии, которому не дали применить свои таланты даже на треть. Был отвергнутый жених, скромный и застенчивый человек, всю жизнь страдавший из-за своей неказистой внешности. И который при этом веселился и даже сумел убедить почти всех в том, что он едва ли не главный кутила русского воинства. Сам он, правда, ощущал себя как «самую поэтическую фигуру» последнего. Иными словами, Давыдов, осознав, что не может стать призером ни в одном из узаконенных тогда «видов спорта», изобрел свой собственный и стал в нем чемпионом.

В Кавалергардский полк Давыдов поступил в 1801 г. Однако первую свою громкую славу он снискал отнюдь не на бранном поприще. В 1804 г. он был уже известен как автор вольнодумных басен «Река и Зеркало» и «Голова и Ноги», которые в списках ходили по всей России. В том же году его выписали из гвардии в Белорусский гусарский полк. Долго считалось, что причиной этого явился гнев царя на сочинителя. Однако скорее всего непосредственным поводом послужило нарушение Давыдовым дисциплины, что, впрочем, не отменяет царской немилости. Реабилитировать себя в глазах императора он так и не смог.

«Гусарские» стихи, написанные Давыдовым в 1804—1805 гг., принесли ему еще большую известность. На них без преувеличения выросло не одно поколение русских офицеров.

В 1806 г. ему удалось вернуться в гвардию, но воевать он

начал только в следующем году в качестве адъютанта князя П.И. Багратиона. Давыдов принимал активное участие в кампании 1807 г., в русско-шведской войне 1808—1809 гг. и русско-турецкой войне 1806—1812 гг. Несмотря на многократно отмечавшуюся Багратионом храбрость Давыдова, награды тот получал с большим трудом, ибо его репутацию в глазах царя никто и ничто не могло поколебать.

1812 год был, как считал сам Денис Васильевич, главным в его жизни. Инициатор партизанского движения, он уже этим заслужил место в первом ряду героев Отечественной войны. В заграничном походе Давыдов прославился, в частности, взятием Дрездена. Войну он закончил генерал-майором, командиром бригады. Однако в 1815 г. выяснилось, что его произвели в генералы «по ошибке», и носимые уже год генеральские эполеты были с него сняты. Эта в высшей степени оскорбительная во всех отношениях история долго не могла забыться. Только в 1816 г. он стал «настоящим» генералом. В 1818—1819 гг. Давыдов был начальником штаба корпуса, а затем вышел в отставку, периодически возвращаясь на службу. В 1826 г. участвовал в русско-персидской войне, в 1831 г. — в польской кампании, за которую получил чин генерал-лейтенанта. Последние годы его жизни были посвящены литературным и историческим трудам.

Алексей Петрович Ермолов (1777—1861), генерал от инфантерии.

Знаменитый «Проконсул» Кавказа пошел служить пятнадцати лет от роду, а через два года, в 1794 г., артиллерийским капитаном принял участие в штурме Суворовым Праги — предместья Варшавы, за что был награжден Георгием 4-й степени. В 1795 г. Ермолов был отправлен в служебную командировку в Италию, где в составе австрийской армии сражался с французами. В 1796 г. подполковником он участвовал в Персидском походе графа Валериана Зубова и получил Владимирский орден 4-й степени с бантом.

Ермолов признавался, что начал службу при «сильном покровительстве» — его отец был правителем канцелярии влиятельного графа Самойлова. Однако с воцарением Павла судьба Ермолова резко переменилась. За участие в так называемом Смоленском заговоре против императора единоутробный брат Ермолова А.Г. Каховский, любимец Суворова, попал в Динамюндскую крепость, а сам Алексей Петрович — в ссылку в Кострому. После переворота 11 марта 1801 г. Ермолов был возвращен на службу и стал командовать конно-артиллерийской ротой.

В 1805 г. произошло знаменитое столкновение Ермолова с Аракчеевым. Д.В. Давыдов излагает события так. Во время смотра ермоловской роты Аракчеев, обнаружив якобы беспорядок в

расположении орудий, спросил: «Так ли поставлены орудия на случай наступления неприятеля?» Ермолов отвечал: «Я имел лишь в виду доказать вашему сиятельству, как выдержаны лошади мои, которые крайне утомлены». — «Хорошо, — сказал граф, — содержание лошадей в артиллерии весьма важно». На что Ермолов дерзко заметил: «Жаль, ваше сиятельство, что в артиллерии репутация офицеров зависит от скотов». Взбешенный Аракчеев поспешно возвратился в город.

Понятно, что с тех пор строптивый подполковник находился под особым «наблюдением» могущественного временщика. Ермолов сражался при Аустерлице. Он был одним из героев кампании 1806—1807 гг., в которой командовал артиллерией авангарда князя Багратиона, заслужив репутацию лучшего в России артиллериста, а также похвалы М.И. Кутузова, цесаревича Константина Павловича и, конечно, самого князя Петра Ивановича. Однако его откровенно обходили наградами и производством.

В 1808 г. в его отношениях с Аракчеевым произошел перелом; последний сменил гнев на милость. Ермолову вернули старшинство в чине, произвели в генерал-майоры, однако, несмотря на неоднократные просьбы отправить его в действующую армию, он не участвовал ни в русско-шведской, ни в турецкой войнах. В 1810 г. по личному настоянию Александра I Ермолов принял командование сначала гвардейской артиллерийской бригадой, а в начале 1812 г. — гвардейской пехотной дивизией. Время было горячее, и император *искал людей*. В июле 1812 г. Ермолов неожиданно был назначен начальником штаба 1-й Западной армии Барклая де Толли. Роль Ермолова в событиях 1812 г. велика и в полной мере еще не оценена. Он отличился в сражениях при Валутиной горе, на Бородинском поле, где отбил у врага батарею Раевского, лично возглавив штыковую атаку. При Малоярославце он удерживал неприятеля до подхода главных сил, в результате чего Наполеон не смог пробиться к Калуге.

В заграничном походе Ермолов, командуя гвардейской пехотной дивизией, принял после ранения графа Остермана-Толстого руководство русскими войсками при Кульме и одержал чрезвычайно важную победу над превосходящими силами французов. В Париж он вступил во главе всей русской гвардии, причем на заключительном этапе войны ему подчинялась и прусская гвардия. Интересно, что Ермолов — автор манифеста о вступлении русской армии в Париж.

После войны Ермолов получил давно желаемое назначение — должность командира Отдельного Грузинского (впоследствии Кавказского) корпуса. За успешное посольство в Персию в 1818 г. ему было присвоено звание полного генерала. Как известно, кавказский период его деятельности оценивается, мягко

говоря, неоднозначно. Жестокость, с которой Ермолов устанавливал российское владычество, давно стала сакраментальной. Она резко диссонировала с его устоявшейся репутацией вольнодумца и вызывала к нему ненависть не только горцев, но и таких людей, как, например, Л.Н. Толстой.

Отставка Ермолова в 1827 г. была предрешена еще в декабре 1825 г. Николай I не верил ему и боялся его. В 1832 г. Ермолов вернулся на службу — поступок, по мнению горячо любившего его Д.В. Давыдова, «вполне непростительный». В 1839 г. Алексей Петрович окончательно отошел от активной деятельности. Популярность его в николаевское время достигла апогея. Во время Крымской войны московское дворянство в пику императору избрало его предводителем губернского ополчения.

Арсений Андреевич Закревский (1786—1865), с 1828 г. граф, генерал от инфантерии.

В 1802 г. Закревский закончил Гродненский кадетский корпус, принимал участие в кампаниях 1805—1807 гг. Своей храбростью он обратил на себя внимание Н.М. Каменского-младшего (сына фельдмаршала М.Ф. Каменского), который во время русско-шведской войны 1808—1809 гг. взял его в адъютанты и одновременно сделал начальником канцелярии. В русско-турецкой войне 1806—1812 гг. Закревский отличился в нескольких сражениях, был произведен в майоры, награжден золотым оружием за храбрость, Георгиевским орденом 4-й степени. После смерти Каменского Арсений Андреевич стал адъютантом Барклая де Толли, тогдашнего военного министра. В конце января 1812 г. был произведен в подполковники, а через две недели — в полковники и вскоре назначен директором Особенной канцелярии при военном министре, т.е. главой русской разведки. Он активно участвовал в сражениях 1812 г., включая Бородинское. В декабре 1812 г. Александр I сделал его своим флигель-адъютантом. Уже в следующем году Закревский был произведен в генералы, а затем стал генерал-адъютантом.

Эта поистине блистательная карьера выглядит тем удивительнее, что Закревский не имел никаких связей при дворе. В 1815 г. он стал дежурным генералом Главного штаба русской армии, в становлении и формировании которого ему принадлежит очень важная роль. Эта должность была видной и ответственной: ему подчинялись инспекторский департамент, т.е. «отдел кадров» русской армии, и аудиториат — военно-судная часть. Во время постоянных разъездов начальника штаба князя П.М. Волконского делами штаба фактически управлял он. После отставки Волконского в 1823 г. Закревский стал генерал-губернатором Финляндии и командиром Отдельного Финляндского корпуса. Он участвовал в суде над декабристами.

В 1828 г. Николай I назначил его министром внутренних дел. На этом посту Закревский пробыл до 1831 г., когда был уволен из-за провала полицейских мер, с помощью которых он пытался остановить эпидемию холеры. Кстати, именно ему мы в определенной степени «обязаны» Болдинской осенью — он не пустил Пушкина в Москву. Немалое значение для его отставки, видимо, имело и то обстоятельство, что он определенно не сработался с А.Х. Бенкендорфом. В 1848—1859 гг. Закревский был московским генерал-губернатором. На этом посту он яростно преследовал все, что принимал за либерализм. Герцен писал его имя с маленькой буквы. Отставка Закревского была воспринята всеми как один из важных симптомов начавшейся после Крымской войны «оттепели».

Павел Дмитриевич Киселев (1788—1872), с 1839 г. — граф, генерал от инфантерии.

П.Д. Киселев известен не столько как военный, сколько как государственный деятель. С его именем связана знаменитая реформа 1842 г., касавшаяся положения государственных крестьян.

Службу Киселев начал в 1805 г. «архивным юношей», т.е. юнкером коллегии иностранных дел при Московском архиве. В 1807 г. он поступил в Кавалергардский полк, принимал участие в кампании 1807 г., в Отечественной войне и заграничном походе. В 1812 г. был адъютантом Милорадовича и обратил на себя внимание Александра I, сделавшего его флигель-, а затем и генерал-адъютантом. Сравнительно позднее начало военной карьеры — в девятнадцать лет не отразилось на темпах его продвижения по служебной лестнице: через десять лет он уже был генералом. В 1816—1817 гг. Киселев выполнял ряд ответственных поручений императора, в частности ревизовал Бессарабию. Тогда же он подал Александру I свой первый проект изменения положения крестьян. В те годы император относился к нему с большим доверием, свидетельством чего явилось назначение Киселева в 1819 г. начальником штаба 2-й армии. На этом важном посту Павел Дмитриевич проявил себя выдающимся администратором. Близость Киселева к служившим во 2-й армии декабристам — Пестелю, Бурцеву, Басаргину и др. — привела к отстранению его от должности, хотя, как и в случае с Ермоловым, никаких прямых свидетельств причастности Киселева к Тайному обществу у Николая I не было.

В начале русско-турецкой войны 1828—1829 гг. Киселев вновь вступил в армию. Постепенно наладились и его отношения с царем. Киселев возглавил Диван Молдавии и Валахии, где провел ряд прогрессивных реформ. Крестьяне получили личную свободу и право перехода от одного помещика к другому, их повинности были строго регламентированы законом. В царствование Николая Киселев являлся постоянным членом всех секретных комитетов, рассматривавших положение крестьян; император называл его

своим «начальником штаба по крестьянскому вопросу». В 1835 г. под его руководством был выработан план освобождения крестьян, проваленный в то время крепостническим окружением императора. С 1837 г. Киселев — министр государственных имуществ. В 1837—1841 гг. под его началом была проведена реформа управления государственными крестьянами; организованные в деревнях приходские училища стали известны как «киселевские школы». Только с воцарением Александра II многочисленным врагам удалось свалить Киселева. Его отправили послом в Париж, где он и провел последние годы жизни (1856—1862).

Личность Киселева оценивалась современниками неоднозначно. В нем видели прежде всего любимца царя, и у многих уже это вызывало неприязнь. Широко известен следующий факт. В 1821 г. Киселева вызвал на дуэль генерал-майор Мордвинов, один из бригадных командиров 2-й армии. Дуэль состоялась, Киселев застрелил Мордвинова. В целом общественное мнение было на стороне Павла Дмитриевича, поскольку считалось некорректным компенсировать служебные неудовольствия у барьера. Исключение составил А.С. Пушкин, который полагал, что Мордвинов поступил смело, поскольку Киселев был его начальником и к тому же любимцем царя. Впрочем, мнение Пушкина не оставалось неизменным. В 30-е годы он характеризовал Киселева как одного из наиболее выдающихся русских государственных деятелей. К числу врагов Киселева, как, впрочем, и Ермолова (до поры) и Закревского (всегда), принадлежал Аракчеев, неприязни к которому Киселев, подобно остальным героям нашего рассказа, не скрывал.

Иван Васильевич Сабанеев (1772—1829), генерал от инфантерии.

П.И. Бартнев, издавший в 39-м томе «Архива князя Воронцова» письма Сабанеева М.С. Воронцову, совершенно справедливо относит Ивана Васильевича «к числу замечательнейших людей русской земли». Сабанеев, человек крайне интересный, был незаслуженно обделен славой при жизни и довольно быстро позабыт после смерти. Уже в 1893 г. тот же Бартнев писал, что его имя «известно нынешнему поколению разве по названному в его память князем Воронцовым Сабанеевскому мосту в Одессе». В конце XX в. фамилия Сабанеева связывается с его родственником, чьи труды по рыболовству и охоте остаются актуальными до сих пор.

Сабанеев окончил Московский университет, после чего поступил на военную службу. В 1791 г. он отличился в сражении с турками под Мачином. Затем под началом Суворова служил в Польше, участвовал в знаменитых Итальянском и Швейцарском походах. Он командовал передовыми цепями одной из колонн, был дважды ранен в боях за Чертов мост и при Муттентале,

оказался в плену в числе других тяжелораненых, которых Суворов оставил «на милосердие» французов в Гларисе.

Вернувшись из плена, Сабанеев привез составленный на основании опыта последней войны проект обучения пехоты рассыпному строю, который вскоре был принят во всей русской армии. Пробыв некоторое время в отставке, Иван Васильевич вернулся в строй и отличился в 1805—1807 гг., командуя полком в авангарде Багратиона. В Пруссии он был ранен штыком в лицо. Во время русско-шведской войны Сабанеев стал генералом, получил Георгия 3-й степени, снова был ранен. В это время его заметил Барклай де Толли. В Молдавской армии в 1810—1812 гг. Сабанеев был одним из наиболее заметных военачальников, неоднократно его действия решали исход сражений. Сабанеева очень высоко ценил Кутузов.

В 1812 г. Сабанеев был начальником штаба армии Чичагова, а во время заграничного похода — и всей русской армии. В этом-то как раз и заключается одна из причин малой известности Сабанеева. Ему не повезло: мы знаем имена мало-мальски заметных генералов и офицеров, сражавшихся в 1812 г. на главном направлении, и куда хуже осведомлены о тех, кто присоединился к армии Кутузова возле Березины и позднее, о тех, кто отличился в заграничном походе.

С 1816 г. и до смерти Сабанеев командовал 6-м корпусом, дислоцированным в Бессарабии, причем в 1824 г. несколько месяцев командовал 2-й армией. Александр I его не жаловал, в частности, и потому, что Сабанеев был откровенным противником аракчеевщины. Дважды его обходили производством в полные генералы; этот чин он получил только в 1824 г.

В состав 6-го корпуса входила 16-я дивизия, которой командовал в 1819—1822 гг. декабрист М.Ф. Орлов. Когда произошли беспорядки в Камчатском полку, приведшие к аресту В.Ф. Раевского, Сабанеев возглавил следствие по его делу. Крайне неприязненное отношение Сабанеева к Орлову, отстранения которого от командования дивизией он добивался, дали некоторым исследователям основание ставить чуть ли не знак равенства между Иваном Васильевичем и Аракчеевым, что, разумеется, абсолютно неверно. «Крикун Сабанеев», как он однажды назвал себя, был одним из гуманнейших генералов русской армии, одним из самых достойных продолжателей дела Суворова, и уже поэтому заслужил добрую память.

* * *

Итак, фельдмаршал, четыре полных генерала и генерал-лейтенант, притом двое из них министры. Карьеры благополучные

в разной степени, но, кажется, неудачными их не назовешь. Впрочем, все относительно.

Можно ли считать неудачниками, например, декабристов?

Вероятно, и да, и нет. Но если нет, то почему мы все время твердим, что они могли жить покойно, счастливо, безбедно, а если бедно, то не в Сибири, могли — по крайней мере некоторые — выйти в генералы, стать сенаторами и т.п.

То есть, видимо, существует некая потребность измерять, оценивать величие Личности с точки зрения бытового, «мещанского», среднестатистического успеха. Мог, но не стал! Не стал, потому что не захотел.

С таких позиций наши герои, конечно, удачливы. Генералами они стали в возрасте от двадцати пяти до тридцати одного (лишь Сабанеев в тридцать шесть лет, но у него был перерыв в службе). И скольких из полных генералов XIX в. знают и помнят? И многие ли из них могут сравниться, например, с Ермоловым или Сабанеевым?

А с другой стороны... Разве тот же Ермолов менее достоин фельдмаршальства, чем Воронцов, не говоря уже о любимцах Николая I — Паскевиче и Дибиче? И как измерить десятилетия, проведенные им в полном бездействии, причем в расцвете сил, в роли наблюдателя за торжеством чистопородной серости?

Видимо, в свое время каждый из них мог быть единственным, но оказался одним из...

Биографии большинства генералов первой четверти XIX в. не могут не внушать уважения. Даже Бенкендорф, прежде чем стать начальником III Отделения, был героем 1812 г. Но об этом мы предпочитаем не вспоминать.

Нечто похожее наблюдается и в отношении героев этого рассказа. Их «невоенная» репутация часто перевешивает боевую. Практически каждый из них небезупречен в глазах позднейших исследователей. Один — «полуподлец», преследовал великого поэта, другой — расправлялся с горцами, третий — с либерализмом, четвертый — «бюрократ», который и реформу-то провел бюрократическую, пятый — не любил и преследовал декабристов. Так, однажды поклонник Чаадаева, не зная чем сто сорок лет спустя уязвить Дениса Давыдова, упрекнул его в том, что он «хвастался подвигами в Польше» в 1831 г., оставив почему-то без внимания пушкинское стихотворение «Бородинская годовщина».

Историками давно введен в научный оборот термин «презентизм». Смысл его можно определить примерно так: оценка прошлого исходя из представлений и нравственных ценностей сегодняшнего дня. Этот подход весьма похож на ту реставрацию памятников, после которой остаются руины. Что, например,

сказали бы о нравственности прекрасной половины человечества конца XX в. люди, жившие сто лет назад, если бы оценивали ее только по длине юбок?

Наши герои — люди своего времени. И только учитывая это, мы сможем приблизиться к пониманию и их самих, и их времени, сможем объяснить, почему солдатский защитник Сабанеев терпеть не мог солдатского защитника М.Ф. Орлова, почему вольнодумец и фрондер Ермолов так расправлялся с жителями Кавказа, что и сегодня их правнуки не могут спокойно слышать его имя, почему умница граф Воронцов считал сочинение стихов пустым делом, а его друг и неменьший умница Ермолов думал наоборот, почему, в частности, Д.В. Давыдов и Пушкин совершенно недвусмысленно сравнивали то, что для нас теперь абсолютно несравнимо — 1812 год и Польское восстание 1830—1831 гг.

«ГОСУДАРЬ» ИЛИ «ОТЕЧЕСТВО»?

У каждого времени множество примет. Дружба, дружество в высоком смысле слова — одна из них. Из шестерых лишь Воронцов и Киселев не были близко знакомы и только между Воронцовым и Давыдовым были неприязненные отношения. Остальных же связывали весьма тесные дружеские узы.

«Любя и почитая вас с тех пор, как знаю, никогда не думал переменяться» (Закревский — Воронцову, 1817 г.)¹.

«Каждый знак твоей ко мне дружбы и памяти сердечно меня радует, ибо ты мне старший друг, я тебя люблю душевно, познакомились мы не в передних и не [на] вахт-параде, а там, где людей узнают и где связи основываются твердые, ибо начало оных, смею сказать, взаимное уважение» (Воронцов — Закревскому, 1820 г.)².

«Люблю тебя, Арсений, и всякий раз более научаюсь почитать благороднейшие свойства твои, которые редко природа сотворяет. Это написал бы я тебе кровью моею! правде Бог свидетель!» (Ермолов — Закревскому, 1818 г.)³.

«Стыдно писать ко мне: *«в нынешнем веке люди переменчивы»*. После сих терминов смело могу сказать тебе, любезный друг, что ты не хочешь знать меня хорошо. Но Закревский раз полюбить может как друг и после по гроб неперменчив» (Закревский — Киселеву, 1815 г.)⁴.

В анализируемой переписке легко найти еще немало подобных уверений, которыми осыпают друг друга самые что ни на есть боевые генералы, которым далеко за тридцать и даже за сорок (правда, трудно представить что-либо подобное, вышедшее из-под пера генералов XX в. Например, письмо Ворошилова Буденно-

му?!). Россия в то время еще не созрела до переводов Байрона, и фраза «в дружбе один всегда раб другого» — из другой эпохи.

Впрочем, способ выражения дружеских чувств — а это тоже знак времени — мог быть и не сентиментальным: «Я твою рожу знаю, а сестры твоей не знаю, а потому прошу прислать ее портрет. Я люблю все, что любит Воронцов. Дай бог, чтобы она родила такого же уродца, как ты» (Сабанеев — Воронцову)⁵. Или: «Забыл тебе послать Мадатова портрет, теперь препровождаю. Нет ли у вас еще таких уродов, присылайте их ко мне... Приготовь мне свой портрет и пришли. Я к тебе прикомандирую свою рожу, снятую, когда в ярости говорю речи грузинцам. Нельзя ли с брата Василия снять план. Мне бы очень хотелось» (Ермолов — Закревскому)⁶.

Полагалось также на людях быть скромным и считать, что друзья непременно способнее тебя. Но признания такого рода делались уже без пафоса или иронии, а с серьезным видом, придававшим этой кокетливой скромности несколько мрачный оттенок.

«С Ермоловым в достоинствах и пользе, которую он, конечно, принесет в Грузии, я равняться не могу» (Воронцов — Закревскому).

«Охотно признаюсь, что не имею равных ему (Воронцову. — М.Д.) способностей и состояние бедное не могло доставить мне равных способов воспитания» (Ермолов — Закревскому)⁷.

«Перешли приказ мой... Воронцову. Вот и письмо мое к этой собаке. Зачем, зачем его не произведут: вот бы кстати 12-го декабря, и чтобы Алексей наш (Ермолов. — М.Д.) не обижался* — обоих; ведь они оба и по местам, и по достоинствам главнокомандующие. Другие надуются... а я порадуюсь» (Сабанеев — Закревскому)⁸.

Итак, дружба. Десять лет непрерывных войн предоставляли русским офицерам хорошие возможности для знакомства. Впрочем, знакомство — это еще не дружба. «Дружба складывается из воспоминаний и привычки», — сказал как-то Дюма, он наметил и путь, который ведет к появлению совместных воспоминаний: «Сударь, я очень люблю людей вашего склада и вижу: если мы не убьем друг друга, мне впоследствии будет весьма приятно беседовать с вами».

Любопытно выяснить, что же объединяло этих людей, что привлекло их друг в друга и позволило возникнуть «воспоминаниям и привычке». Исчерпывающе ответить на этот вопрос, разумеется, нельзя, но можно постараться найти «общий знаменатель».

* В дружеских отношениях допускалась ревность, которая, если не определить ее природы, нам (не им!) легко может показаться завистью.

Ясно, что немалую роль в их сближении сыграла их человеческая талантливость, если так можно выразиться, а также прекрасные боевые репутации. Но храбр и талантлив, например, был и Дибич, тем не менее наши герои его не жаловали. Впрочем, о репутации — ниже, а пока рассмотрим весьма важные аспекты их мировосприятия.

В их представлении Россия — европейская монархия (по Монтескье), император — монарх, а они — те самые дворяне, носители Чести (системообразующего принципа монархии), которые являются посредниками между верховной властью и народом и без которых монархия превращается либо в народное государство, либо в деспотию. Их понимание чести вполне укладывается в известную формулу того же Монтескье: желание почестей при сохранении независимости от Власти. Честь, несомненно, — ключевое понятие, на которое замкнуто все мироощущение наших героев. В переписке, правда, чаще употребляется оборот «честный человек»; слово «честь», надо полагать, не из тех, которые было принято постоянно использовать. Это подтверждает и характер тех ситуаций, в которых прямо говорится о личной чести. Так, описывая Закревскому свою дуэль с Мордвиновым, Киселев замечает: «Мог ли я поступить иначе... Я исполнил долг честного человека... Не знаю, как дело сие будет истолковано в столице... Воля царская, и я готов пожертвовать местом за честь свою, которую в жертву принести не могу»¹⁰. Ермолов, доказывая деспотический характер правления в Персии, пишет, что для вельмож основное — «рабственное угождение неограниченной воле шаха», «хотя бы и с потерей чести, которая здесь нечто баснословное. В их разумении нет блага отечества, славы национальной»¹¹.

С понятием чести тесно связано чувство внутренней независимости; право иметь собственное мнение для них априорно. Независимость, своего рода суверенитет личности, очень многое определяет в их отношении к службе.

Служба для них не только главное занятие, в ней основной смысл их жизни. Любой из них с полным основанием мог заявить, как Ермолов, что служба — его «единственная цель» и «господствующая страсть», или как Воронцов: «Все планы, не сопряженные со службою... кажутся скучными»¹². Служба — стержень, на котором их жизнь держится, возможность отдать свой гражданский

Нельзя в связи с этим не вспомнить допрос Николаем I братьев Раевских в 1826 г.: «Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу; но имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство; где же ваша присяга?» Александр Раевский отвечал: «Государь! Честь дороже присяги; нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще» *Лорер Н.И. Записки екабриста. Иркутск, 1984. С. 207*).

долг отечеству, России. Она имеет смысл, если приносит пользу, это неперемное условие. Стремление сделать карьеру обосновывается (или оправдывается?) именно возможностью принести больше пользы стране. «Мне необходимо одно то награждение, чтобы я сам был доволен отправлением должности и чувствовал приносимую служением моим пользу»¹³; «дай Бог... и мне быть тебя чиновнее, то есть полезнее России, ибо первое у меня ценится последним... Дай Бог тебе исполнить все, что предпринимаешь, ибо рвение твое имеет целью общую пользу»¹⁴ — вот обычные их мысли. Коллективным девизом этих людей могли бы быть знаменитые слова: «Videant consules ne quid detrimenti respublica capiant». Личностный суверенитет не позволяет им смотреть на себя как на слепых исполнителей, как на «телеграф» для передачи приказаний начальства, по удачному выражению Д.В. Давыдова. Они всегда «большие католики, чем папа», но притом не признают буллы «Силлабус», утверждающей его непогрешимость.

Какое же место занимал в системе их воззрений император? Как соотносились в их сознании понятия «Государь», «Россия», «Служба»?

Царь для них прежде всего европейский государь, который правит на *основании законов*. В историографии существует точка зрения, согласно которой в «сознании дворянства» происходило «поглощение государства личностью самодержца», что «не только служба императору и государственная служба были тождественны, но и понятия «Государь» — «Государство» — «Отечество» являлись синонимами... В эпистолярных источниках понятия «государственная служба» и «служба императору» либо встречаются вместе, либо заменяют друг друга как абсолютно тождественные для авторов писем»¹⁵. Не говоря о том, что факт совместной встречаемости терминов вовсе не доказывает их тождественности, вряд ли правомерно распространять эти оценки не только на русское дворянство в целом, но даже и на тот узкий слой, который в данном случае является предметом анализа.

Аракчеев, как известно, заявил в 1812 г., что ему дела нет до России, а беспокоит его одно — не угрожает ли что-нибудь государю. Полагаем, что его взгляд разделяли, мягко говоря, не все современники.

Для наших героев понятие «Государь» объединяло то, что можно назвать тайной престола, тайной самодержавной власти, и того, кто являлся носителем, воплощением этой тайны. Царь — живое олицетворение России, в известном смысле она персонифицирована в нем. Оба понятия действительно очень часто встречаются вместе: «только нужно дать разуметь, что такое Россия и Государь российский»; «любя славу Царя и отечества»;

«знаю, чем обязан Царю и Царству»¹⁶ и т.д. Правда, не совсем ясно, то ли это эпистолярный или вербальный штамп, то ли за связкой «Государь» — «Отечество» стоит нечто иное.

Специальный анализ случаев одиночного употребления слова «Государь» показывает, что оно использовалось преимущественно для описания различных аспектов служебной деятельности: «у меня все время на службу Государю»; «воля моего и их Государя»; «обязан я доводить до Государя стон угнетаемых»; «буду служить Ему верою и правдою до последнего издыхания или до тех пор, пока служба моя будет ему угодна»¹⁷ и т.д. Роль монарха в их жизни была огромна. И все-таки для этих людей между понятиями «Император» и «Россия» имелись существенные различия. Они легко усматриваются, например, в ермоловском резюме по поводу Бородинского сражения: «Никогда любовь к отечеству, преданность к Государю не имели достойнейших жертв»¹⁸. А вот как он пишет о разжалованном в солдаты офицере Розене: «Исходатайствуйте ему прощение в память его дяди покойного генерала Вавржецкого, который привержен был собственно Государю и всегда усердствовал пользам России»¹⁹. Другими словами, приверженность «собственно Государю» и «любовь к отечеству», содействие «пользам России» не совсем одно и то же. Эти понятия могли совпадать, точнее, накладываться друг на друга, а могли и не совпадать. И если «усердствовать пользам» своей страны и любить ее человек должен был всегда, то преданность и любовь к царю — вопрос индивидуальный. Каждый его решал для себя сам, что наглядно демонстрируют судьбы отца и деда Александра I.

Как известно, Петр I личным примером немало сделал для того, чтобы убедить своих подданных в необходимости Служения России. Однако создание не лишено признаков харизмы образа царя-труженика, царя-слуги Отечества (и одновременно его Отца!), образцово исполняющего свою царскую *должность* и требующего такой же самоотверженной службы от всех подданных, наряду с желаемым эффектом имело и иной, который вряд ли принимался Петром в расчет. В сознании части дворянства постепенно утверждалась мысль о том, что дворяне и император в определенном смысле равны (именно равны!), ибо все они — слуги Отечества. Монарх стал восприниматься не только как суверен, но и как партнер по выполнению важнейшей социальной миссии — служению России. В этом он был хотя и «самый» первый, но все же среди равных. Россия, по мнению наших героев, несомненно выше, значительнее и царя, и дворянства. Отсюда среди прочего следовало, что как слуга Отечества царь подвержен критике со стороны других таких же слуг, т.е. дворян, которые могут иногда лучше него знать, что полезно для страны, а что нет. В этом, кстати, одно из моральных оснований не

только дворянской фронды в ее русском варианте, но и переворотов и даже цареубийства (Пален, как известно, до конца жизни считал себя Брутом; впрочем, начало этой «патриотической», этатистской линии положил сам Петр I историей с царевичем Алексеем, не подозревая, конечно, чем все это кончится).

В письме Ермолова князю П.И. Багратиону, написанном в разгар ссоры последнего с Барклаем де Толли в 1812 г., есть примечательные строки: «Я говорил министру о вашем желании сдать команду. Я заметил, что это даже его испугало, ибо впоследствии надо будет дать отчет России в своем поведении. Конечно, мы счастливы под кротким правлением Государя милосердного; но нынешние обстоятельства и состояние России, выходя из порядка обыкновенного, налагают на всех нас обязанность и соотношения необыкновенные. *Не одному Государю надо будет дать отчет в действиях своих отечеству* (курсив мой. — М.Д.), но также людям, каковы вы, ваше сиятельство, и военный министр». Требование отчета у самодержца — не самый привычный в нашей истории сюжет, но ясно, что нестандартность ситуации лета 1812 г. позволяла увидеть то, что не всегда было заметно при «порядке обыкновенном».

А вот другой, не менее показательный пример. В 1815 г. Александр I, недовольный тем, как маршировали в Париже русские гренадеры, приказал посадить на гауптвахту трех полковых командиров. Мнения генералов разделились. Одни считали, что этого делать не следует, те же, кто искал милостей при дворе, говорили, что надо бы наказать еще строже. Ермолов, командир гренадерского корпуса, был, конечно, на стороне первых. Он сказал императору, что на союзной гауптвахте в данный момент в карауле англичане, и уж если арестовывать русских офицеров, то охранять их должен русский караул. Царь отвечал, что «пусть они для большего стыда будут содержаны у англичан». Ермолов тянул с выполнением царского приказа до вечера, пока его в театре не нашел адъютант, вручивший под роспись разгневанную записку Александра. В театре находились «молодые» великие князья Николай и Михаил Павловичи, которым разъяренный Ермолов не упустил случая высказать свое мнение: «Разве полагаете, Ваши Высочества, что русские военные служат Государю, а не отечеству? Они пришли в Париж защищать Россию, а не для парадов. Таковыми поступками нельзя приобрести привязанности армии»²⁰. Этот ермоловский монолог заставляет усомниться в основательности рассуждений о тождественности понятий «Государь» и «Отечество» и о поглощении первого вторым. Ведь важно не то, что человек говорит, а как он проговаривается.

Конечно, не все могли отважиться на подобное. Но друзья

Ермолова вели себя вполне независимо, действовали на своих весьма высоких постах так, как считали нужным, не нарушая, разумеется, «обязанности повиновения в точном смысле», но вызывая при этом зачастую неудовольствие императора.

Именно по линии независимости, личного суверенитета проходит граница между ними и Аракчеевым, который в их переписке (и не только в их) фигурирует как «Змей Горыныч» или просто «Змей». Его они ненавидят яростно и квалифицированно. Причина? Для них, как и для многих современников, Аракчеев — злой гений России и одновременно ее позор. Он олицетворение всего худшего, что есть в стране. И дело не только в том, что он главный исполнитель глубоко порочной, по их мнению, программы поселения войск, не только в его грубости, оскорбительной для всякого порядочного человека, и т.п. Все это следствие основного, коренного расхождения между ними, которое состоит в различном понимании своих обязанностей, различном отношении к Службе и соответственно к Власти. «В жизни моей я руководствовался всегда одними правилами — никогда не рассуждал по службе и исполнял приказания буквально»²¹, — написал однажды Аракчеев. Подобное «нерассуждение по службе», по мнению противников Аракчеева, и опасно, и вредно. Не нужно, однако, думать, что иметь собственное мнение для Ермолова и его единомышленников — самоцель или способ самоутверждения; для этого у них были и другие возможности. К тому же, люди военные, они хорошо знали, что такое дисциплина. Дело в другом. Не все решения Власти безупречны, не всегда они направлены к общему благу. И тогда «прямой и верный слуга», «честный человек», должен, обязан высказать свое мнение, даже если это грозит ему неприятными последствиями.

Между тем, как уже говорилось, значительная группа высокопоставленных военных и гражданских чиновников ориентировалась на Аракчеева и разделяла его взгляды о необходимости буквального исполнения приказаний. Притом среди них были люди далеко не бездарные (но тем хуже, тем опаснее!). Они хорошо поняли, что карьеру проще, удобнее делать «по Аракчееву» и при Аракчееве, в плане, так сказать, вассальной верности ему, не только не рассуждая, но даже предугадывая желания Власти. А рецепт преуспевания был прост: парад значил куда больше, чем боевая подготовка. Показательно в этом смысле мнение Закревского о И.И. Дибиче, который в то время уверенно шел в гору. Дибич, заслуженно прославившийся в 1812 г., храбрый, умный герой, строил карьеру средствами, которые наши герои отвергали: он женился на дочери Барклая де Толли, пользовался милостями Аракчеева: «Дибич... *Государю потакает во всем отлично—хорошо* (курсив мой. — М.Д.) и сим возьмет

очень много...»²² «Потакание» царю, т.е. прежде всего плац-парадное усердие (Дибич не раз специально приезжал в Петербург посмотреть учения гвардии), изобретение очередных новшеств этого рода — одна из главных претензий наших героев к клиентеле Аракчеева. Немало сулило и участие в управлении военными поселениями. Словом, «не рассуждать» было выгодно. Однако для Воронцова, Ермолова и их друзей такой подход к службе был неприемлем.

Все вышесказанное позволяет уточнить понимание нашими героями феномена монаршей милости. Проблема эта важна, ибо, напомним, честь — это желание почестей. «Я служу Государю, служу немного и собственному имени моему», — говорит Ермолов и добавляет: — «я очень [хорошо] знаю, где польза моя собственная должна молчать пред пользою моего отечества»²³. Разумеется, усердная служба, по их убеждению, должна вознаграждаться. Однако, как можно заметить, не всякое усердие они считали полезным. Отношение к монаршей милости афористично сформулировал Сабанеев: «Гнев царский без вины, а награда без заслуги суть близнецы». Понятно, что они, как любые генералы во все времена, имели собственное представление о «заслугах» и масштабах личных отличий. Но поощрение ревностной службы для них (как и для большинства современников) — непреложный закон. Идея соразмерного воздаяния за заслуги определяла критичное отношение к тем, кто делал карьеру негодными, по их мнению, средствами: «подвигами в экзерциргаузе», угодничеством, «сильными связями», «ловкостью у двора» и т.п. Для себя они такой путь исключали, что доказывают реальные обстоятельства их карьеры. Воронцов выразился в письме к Закревскому очень точно: «Познакомились мы не в передних и не [на] вахт-параде». Одна эта фраза отсекает наших героев (и их карьеры) от «тех других». Познакомились они на войне.

Вообще, беспроблемное продвижение по службе не соответствовало их представлениям о справедливости. Ермолов, к примеру, так говорит о своем племяннике: «Он был неблагопристойно счастлив по службе и потому надобно еще то заслуживать»²⁴. Когда Ермолов хочет выделить какого-либо генерала, он обязательно обращает внимание на то, как сделана его карьера:

«Быстрый ход по службе не допустил нужной опытности, не представились случаи обнаружить особенные способности военного человека. Из всех наилучших качеств, украшающих Строганова, военные не суть превосходнейшие. Никому не уступая в отважности, готовый встречать опасность, но не среди звука оружия может возгреть имя его»;

«В царствование императрицы Екатерины II Коновницын был полковником... Отец его, значительный сановник, по важности

занимаемых им должностей, в связи со многими могущественными особами, разными путями с необыкновенною скоростью проводил сына в чины... Утративши в продолжительной отставке прежний, практически приобретенный навык, Коновницын возвратился в службу и совершенно сказывались военные его знания. Блестительно была неустрашимость его, но не могла заменить недостатка их»²⁵ и т.д.

Если Власть обязана награждать отличившихся, то последних награда обязывает служить с еще большим усердием. И наоборот, невнимание Власти как бы лишает ее морального основания требовать от подчиненных ревностной службы. Игнорирование заслуг обижает и даже оскорбляет чиновников. Большинство дворян исповедовало эти взгляды вполне сознательно. У каждого из наших героев можно встретить жалобы на несправедливость начальников всех уровней вплоть до «Белого» (так они иногда называли царя). Обиды подсчитываются ими с тщательностью канцеляристов. Так, на одиннадцати страницах «Записок» Ермолова (издание 1865 г.), содержащих аннотированное описание главных событий его жизни в 1801—1811 гг. (исключая 1805—1807 гг.), приводится 17 конкретных случаев, когда он с «равными правами на награду неравные имел успехи со многими другими», когда ему отказывали в служебных назначениях, награждали менее престижными орденами или вовсе не награждали, не повышали в чине, а также когда он вступал в конфликты с командованием, прежде всего с Аракчеевым. С Давыдовым вообще произошла неслыханная вещь: у него отняли присвоенный уже генеральский чин. Легко понять его чувства: «Если... не буду произведен, то намерение мое непоколебимо, я оставлю службу... Если мои просьбы останутся втуне, то я рапортуюсь больным и до тех пор останусь дома, пока не отдадут должного, то есть чин и Георгия 3-го, к коим я представлен»²⁶. Воронцов, комментируя немилость императора, пишет: «Потеряв теперь остатки куража и надежды, не могу не видеть особливое против меня неблаговоление», что «убивает всякую охоту и склонность к службе... служить, как будто под наказанием, без всякой, по совести, причины никак не могу»²⁷. И подобных примеров множество.

Спору нет, частые сетования на несправедливости и обиды несколько противоречат тому образу, который возникает при чтении их переписки и воспоминаний, — образу рыцарей Службы, «усердных ревнителей пользы», у которых «все время на службу Государю», и т.п. Но это лишь на первый взгляд. Ведь чувство обиды ~~из~~-за того, что заслуги не оценены по достоинству, — чувство общечеловеческое и вневременное. Вопрос в форме и способах его выражения, которые доминируют в данную эпоху в данном обществе. Как и в XVIII в., в рассматриваемый период

такого рода эмоции не принято было скрывать. Более того, в глазах общественного мнения подобные претензии считались вполне справедливыми, их высказывали вслух и громко. И квалифицировать подобное недовольство героев 1812 г. (как, впрочем, и Потемкина, Суворова и многих других) как «искажительность», «эгоистичность» — презентизм чистой воды. Это столь же неисторично, как видеть причину местнических споров в дележе мест за царским столом.

Односторонность такого взгляда подтверждают экстремальные ситуации, когда наши герои допускали отступления от принципа воздаяния. Так, в 1812 г. в момент отхода русских армий к Москве, когда с новой силой разгорелись споры между командующими, Ермолов, много сделавший для их примирения, в цитированном уже письме к князю Багратиону писал: «Вам, как человеку, боготворимому подчиненными, тому, на коего возложена надежда многих и всей России, я обязан говорить истину: да будет стыдно вам принимать частные неудовольствия к сердцу, когда стремления всех должны быть направлены к пользе общей, что одно может спасти погибающее наше отечество»²⁸.

Император выступает как посредник между Службой и служащими, посредник могущественный, но не всемогущий. Это важно. Хотя в то время слово «отечество» писали с маленькой буквы, а «государь» с прописной, для многих дворян первое было важнее второго. Монаршая милость — индекс общественного признания заслуг дворянина, пользы его службы для страны и самого монарха (в идеале олицетворявшего Россию). Эта милость по многим позициям определяла социальный рейтинг человека. По многим, но не по всем, ибо нашим героям хорошо был известен механизм функционирования «источника милостей», иногда далекий от справедливости. Поэтому более существенным для них нередко оказывался неофициальный «счет заслуг» — то, что называется репутацией. Не случайно заботы о ней занимали видное место в их жизни. Именно репутация давала им возможность, например, грозить отставкой, говоря, что «не все поверят», что «вдруг» сделались неспособны. В тех случаях, когда их собственное понимание Пользы, их принципы вступали в противоречие с требованием верховной власти, принципы могли оказаться более важными (в известных пределах, конечно, которые каждый устанавливал для себя сам). Так, когда царь несправедливо, по мнению Ермолова, «выключил из службы» на Кавказе испанского революционера Хуана Ван-Галена и приказал выслать его из России, Ермолов не только ослушался, но и позволил себе открыто поучать императора, разумеется, в рамках этикета: «Не решился я, Государь, отправить его с фельдъегерем и передать австрийскому правительству, и исполнение воли Вашего Императорского Величества искал сделать приличествующим образом великодушию и милосердию Государя, коего люблю я славу... Не

ожидаю подвергнуться гневу Вашего Величества, но не менее должен бы был скорбеть, если бы иноземец, верно и с честью служивший, мог сказать, что за вину, в коей не изобличен, получил наказание от Государя правосудного. Строгие правила мои не допускают поблажать вольнодумствующим, но и сего в течение года не замечено в майоре Вангалене»²⁹. Примечательна не только забота Ермолова о репутации императора, но и та убежденность в собственной правоте, с которой он позволяет себе корректировать распоряжение последнего.

Необходимо заметить, что наши герои отнюдь не были социальными «робинзонами». Сабанеев как-то написал: «Видимое нерасположение ко мне царя укрощает век мой, но никак не переменит правил моих. Я готов умереть на службе из обязанности быть полезным отечеству и признательности к прежним милостям Государя. Никогда не буду угождать Его Величеству с вредом для него, никогда не буду льстить Ему и обманывать из собственной корысти, как другие... Я ни за какие милости не хочу изменить обязанности моей... и готов терпеть все»³⁰. Ему вторит Закревский: «Я правил моих ни для кого не переменю»³¹. Под этими словами подписались бы многие русские дворяне того времени.

«ПРАВИЛА»

В войнах XVIII—XIX вв. подчиненные видели командиров высокого ранга рядом с собой в бою гораздо чаще, чем их потомки в XX в. Понятно, что репутация генерала в огромной степени зависела от того, как он вел себя в эти минуты.

Боевые биографии наших героев в этом смысле соответствуют лучшим образцам эпохи и полны эпизодов, блестящих как по содержанию, так и по форме. Что касается последней, то, как известно, по обилию исторических фраз и «жестов» начало XIX в. могло поспорить со временем героев Плутарха и Тацита.

Несколько примеров.

В сражении при Прейсиш-Эйлау Ермолов командовал 30-пушечной батареей. Объявив подчиненным, что «об отступлении помышлять не должно», он отослал в тыл лошадей и передки орудий. После каждого залпа батарея под собственной дымовой завесой передвигалась вперед в полном смысле слова на руках. Командующий русской армией Беннигсен был очень удивлен, увидев в тылу лошадей и передки без единого орудия, но, узнав об этом варианте «сожженных кораблей», был «чрезвычайно доволен», пишет Ермолов в своих «Записках»¹.

Внимание цесаревича Константина Павловича Ермолов обратил на себя при следующих обстоятельствах. Ему показалось, что ермоловская батарея слишком долго не открывает огня.

Присланному за разъяснениями адъютанту Алексей Петрович отвечал, что будет стрелять тогда, когда отличит «белокурых от черноволосых». Колонна была рассеяна².

Хладнокровие Воронцова в бою было притчей во языцех, и даже возраст не изменил его. Вот что писал о шестидесятипятилетнем Михаиле Семеновиче его адъютант князь Дондуков-Корсаков: «Князь чрезвычайно высоко понимает и ценит военные доблести, давая собою пример исполнения военного долга с тою естественностью и простотою, которая еще более выставляла его достоинства. Он не любил хвастовства в военном деле и вообще всякого фанфаронства, и в храбрости более всего ценил скромность; трусость он презирал глубоко, а человек, подверженный этой слабости, окончательно терял в его глазах³. Надо сказать, что и Ермолов импонировал окружающим своей скромностью. Цесаревич Константин говорил: «Ермолов в битве дерется как лев, а чуть сабля в ножны, никто от него не узнает, что он участвовал в бою»⁴.

В 1847 г. во время осады аула Салты на Кавказе Воронцов шел по траншее вслед за одним из полковых командиров, Плац-Бек-Кокуном, человеком огромного роста и воинственного вида. В тех местах, где бруствер был невысок, полковник пригибался, ибо горцы простреливали эти промежутки. «Князь, увидев эту проделку раза два, не вытерпел и, остановившись в одном из опасных мест, сказал: «Полковник, я всегда хотел помериться с вами ростом — станьте-ка со мной». Кокун, разумеется, повиновался и общий хохот свиты служил лучшим наказанием его слабонервности. Между тем несколько пуль просвистело над Князем и Кокуном. Главкомандующий, продолжая путь, сказал ему: «Однако же вы значительно выше меня ростом, берегите свою голову». В мнении князя репутация Кокуна была навсегда установлена», — пишет Дондуков-Корсаков⁵.

Однажды во время шведской войны Закревский под неприятельским огнем играл в карты, сидя в лодке на одном из озер. Когда столик сбила пуля, партнеры поставили его на место и продолжили игру. Нет нужды специально рекомендовать храбрость Сабанеева (командование передовыми цепями Суворов мог доверить только лихому офицеру) или Давыдова. Храбрость, проявленная Киселевым во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг., покорила Николая I и во многом способствовала их сближению, а ведь после 14 декабря положение Киселева было весьма сложным.

Число подобных примеров можно увеличить. Вообще, человечество во всех смыслах много потеряло с тех пор, как полководческое искусство в основном перестало описываться тремя знаменитыми картошками из кинофильма «Чапаев».

Следующий сюжет, о котором необходимо сказать, связан с деньгами. Проблема эта деликатная. В то время, как, впрочем,

и в любое другое, чиновники делились на тех, кто «брал», и тех, кто этого не делал. Нет нужды пояснять, что наши герои не относились к первой категории, хотя, подобно большинству офицеров, лишних денег не имели и, кроме Воронцова, жили преимущественно на довольно скудное жалованье (реальные размеры их материального неблагополучия мы не всегда представляем себе отчетливо; даже у историков иногда отношение к этому вопросу вполне пролеткультовское). Однако они не только не пользовались служебным положением для исправления ситуации (один намек на это был бы в высшей степени оскорбителен), но несомненно относились к казенным деньгам куда внимательнее, чем к собственным. Экономия государственных денег — приятная обязанность для них: за время пребывания во Франции Воронцов сэкономил 4 млн. франков, Сабанеев, командуя в 1824 г. несколько месяцев 2-й армией, — до 2,5 млн. рублей («заплатил Царю за Его милости ко мне», — писал он Закревскому)⁶. Экономия казенных средств была предметом постоянной заботы Ермолова. Примечателен следующий факт. Потратив во время посольства в Персию экстраординарную сумму в 100 тыс. рублей ассигнациями, Ермолов вернул ее в казну из сумм, положенных ему на содержание. «Сии последние, — писал он Закревскому, — даны мне в полное распоряжение и без отчета, взамен также и жалованья, которое я принять не согласился. Ты верно доволен, что подобный тебе богатством человек делает подарки ценою в сто тысяч рублей. Знай наших, брат Арсений! Пожалуй, обрати на это внимание Государя, не мешает, если он увидит, что в деньгах я не первое поставляю счастье. В Персии я мог, по крайней мере, взять миллион с Аббаз-Мирзы, которого надобно было только признать за наследника престола. Я сие мог сделать на основании данной мне инструкции... но я видел в том нам вред и за сто миллионов бы не согласился. Много нашлось бы мастеров, которые бы и деньги взяли и поступку своему придали похвальный вид. Меня многие примут за дурака!»^{7*} Однажды Ермолов заметил: «Если бы служил из денег, то здесь умел бы я достать их и без соизволения на то начальства, а вы взгляните, что я их ежегодно по всем частям управления сберегаю в сравнении с тем, что делалось прежде»⁸. Показательно, что при этом возможная перспектива потерять 6 тыс. рублей, которые он

* Н.Н. Муравьев-Карсский, сопровождавший Ермолова в посольстве, писал: «Послу подарены (шахом. — М.Д.) десять прекрасных шалей, славная сабля и бриллиантовая звезда с орденом... Посол еще получил несколько прекрасных шалей от Махмет-Али-мирзы и славных лошадей. Другой на месте Алексея Петровича сделал бы себе состояние из подарков сих, но бескорыстный наш генерал назначил все сии вещи знакомым своим и родственникам и ничего себе не оставляет... Римские добродетели сего человека единственны; он имел случай обогатиться одним посольским жалованьем, но он его отказал, довольствуясь жалованьем, принадлежащим к его чину» (Русский архив. 1886. Кн. 1. С. 523).

получал как командир гвардейской артиллерийской бригады, его крайне волновала: «тогда я пропал и не буду иметь способов существовать в службе». Он просил Закревского «не приводить на память» возможное распоряжение о прекращении этого дополнительного жалования, тем более что Коновницын, тогдашний военный министр, недоброжелатель Ермолова, вполне мог ему специально навредить⁹.

Впрочем, всегда была возможность поправить свои финансовые дела, обратившись к императору. Но вот в этом вопросе между нашими героями единодушия не было. Когда Ермолов говорит, что он честолюбив, но почитает честолюбие в том, «чтобы ничего не просить», — это не пустые слова. Его единственная сестра вышла замуж за некоего Павлова, образ жизни которого Алексею Петровичу совсем не импонировал: «Кто стыдится бедного своего состояния и, бедность закрывая, делает долги, тот не *мой человек*. Жить соразмерно способам, хотя бы, впрочем, и скудно, никогда не бесчестно. Так я приблизился к старости моей и мне бедностию не упрекали!» Вскоре дела Павловых стали совсем плохи. Сестра прислала Ермолову письмо, в котором «почти упрекала... равнодушием к ее бедственному» положению. «Весьма ясно дает мне разуметь, что я должен просить у Государя ей помощи и что сие есть единственное средство спасти ее», — писал он Закревскому, добавляя, что, «приняв награду, а паче выпросив ее», будет считаться — и справедливо — неблагодарным, если «не заплатит за оную трудами», а сделать этого он не может и не хочет. «Или должен я принести в жертву свободу мою, угождая прихотливой и нерасчетливой жизни любезного зятя. Что от меня зависело... я исполнил. Теперь предлагаю сестре уделять ежегодно от моего жалования от полутора до двух тысяч рублей» и жить у родственников. Особенно возмутили Алексея Петровича разговоры о том, что его, Ермолова, сестре «не приличествует быть в состоянии столько бедном». Он квалифицировал их как «самолюбивые и нелепые»: «Я доказывал им, что случайно послужившее мне счастье не сделало меня богатым, не вывело нас из состояния, в коем мы рождены. Что не может лежать на правительстве забота о благосостоянии каждого из служащих, что подобной обязанности не могут возлагать на него даже великие люди отечества нашего, не только я, отличных заслуг и подвигов не оказавший. Итак, *сам я и сестра моя*, не выходя из класса людей обыкновенных, должны, уклонясь неуместного самолюбия, почитать себя в равных правах с прочими»¹⁰. Рассказывая Закревскому о единственном случае, когда он чуть было не женился, Ермолов замечает, что его и ее бедность не позволили «затмиться страстию»: «Чтобы из меня теперь вышло? Я, как и ты, имею правило ничего не просить, а дать мне, может быть,

не догадались бы, и я теперешнюю свободу променял бы на всегдашнее сетование»¹¹. Кстати, Закревский единственным серьезным недостатком Сабанеева считал то, что он «любит просить денег у Государя, за что часто мы соримся»¹². И хотя деньги Сабанеев просил в долг и под проценты, такая просьба нуристу Закревскому была не по душе. Н.В. Басаргин, адъютант Киселева, рассказывает о беседе своего патрона с императором: «Раз как-то Государь спросил его, почему он, будучи небогат, не попросит у него никогда аренды или денег? «Я знаю, что Вы охотно даете, Государь, — отвечал он, — но не уважаете тех, которые принимают от вас дары. Мне же уважение Ваше дороже денег»¹³.

Подобный взгляд не мешал нашим героям постоянно ходатайствовать перед Властью о прибавке жалованья, пенсий, столовых и т.п. неимущим офицерам и генералам, которых в русской армии было большинство. Показателен эпизод с получением аренды Д.В. Давыдовым. Как известно, главная часть состояния их семьи пошла в уплату казенного долга, лежавшего на его отце. Долг этот царь простил, как писал сын Дениса Васильевича, «за службу отца моего в 1812 году»¹⁴; к тому же Бородино — воистину символически — принадлежало Давыдовым, что, возможно, также сыграло свою роль. Когда Давыдов решил жениться на Злотницкой, Ермолов выхлопотал ему аренду в 6 тыс. рублей ассигнациями. Но свадьба расстроилась, и Давыдов отказался от аренды, однако император оставил ее за ним (это, кстати, не противоречит тому, что Давыдов был «не на хорошем замечании»; Киселев верно говорил, что царь «охотно дает» деньги тем, кто просит). Наконец, вспомним известный эпизод из биографии Воронцова, который, как пишет Дондуков-Корсаков, показывал «истинную натуру grand seigneur'a, которым он во всем был проникнут. Князь оставлял Францию после 14-го года и, не желая, чтобы какое-либо нареканье падало на русские войска, потребовал сведения о долгах» своих подчиненных, как офицеров, так и солдат, и заплатил из собственных денег всю сумму — около миллиона франков¹⁵. Вообще кошелек *настоящего* начальника всегда был открыт для подчиненных. Если Воронцов за свой счет обмундировывал бедных офицеров, состоявших при нем, и даже назначал содержание их женам, то и Ермолов, не имевший и сотой части его состояния, давал безвозмездно значительные суммы подчиненным офицерам. Это — норма для того времени (как, впрочем, и займы у знакомых под проценты)¹⁶.

Все наши герои, за исключением Воронцова, принадлежали к небогатому среднему и мелкому дворянству. Свои фамилии, хотя и старинные, состоявшие иногда в родстве с известными и знатными родами, суждено было прославить именно им. Следует заметить, что слова Пушкина «у нас нова рожденьем знатность,

и чем новее, тем знатней» — вовсе не поэтическое преувеличение. Представления того времени о знатности не совпадали с нынешними (да и с тогдашними европейскими). Потемкин, Орловы, Зубовы и другие им подобные, благодаря «случаю» успешно оттеснившие от трона представителей исторической знати, в глазах общественного мнения стояли ничуть не ниже Рюриковичей и Гедиминовичей, не имевших их влияния и богатства, а нередко и куда выше. Граф Воронцов был для современников аристократом не только потому, что претендовал на родство со знаменитыми боярами Воронцовыми, служившими роду Ивана Калиты (у Киселева родословная была еще древнее), но прежде всего потому, что уже с середины XVIII в. Воронцовы имели большой вес при дворе и были очень богаты. Подобно тому как в наше время сплошь и рядом путают понятия интеллигентность и престижность, так и тогда богатство и влияние при дворе нередко выступали эрзацем благородного происхождения.

Для Ермолова, например, проблема происхождения стояла очень остро. Презрение, с которым он всю жизнь относился к аристократии всех времен и народов и которое, как и любое «классовое» чувство, легко интерпретировать как элементарную зависть, выдержано в лучших традициях Комитета общественного спасения 1793 г. Сам себя он считал «простым армейским офицером», «простолюдином» (любимая ерническая самооценка), который медленно продвигался по служебной лестнице, пробивая путь тяжкими трудами и талантом, и должен был при этом уступать людям, все достоинства которых заключались в титулах и связях. Характерно его замечание в «Записке о посольстве в Персию» о том, что реформам в этой стране могут воспротивиться вельможи, знать, которая боится, чтобы «достоинства (обычных людей. — М.Д.) не похитили нечто от преимуществ, породе принадлежащих, — опасность, порождающая одинаковую боязнь в знатных всего мира»¹⁷.

Когда в 1817 г. Ермолов слишком долго, как ему казалось, ожидал награды за успешное завершение посольства в Персию, он говорил Закревскому: «Заметь, что Строгонов в Константинополе не более меня успел сделать, а награждение тотчас дали. Я правду тебе говаривал, что одно из преступлений моих то, что я незнатной фамилии и что начальство знает, что я, кроме службы, других средств никаких не имею... Крайне больно мне, что о вознаграждении меня нужны хлопоты... тогда как многим другим за меньшие гораздо заслуги успели бы сделать множество приятностей. Скажи, если бы в моем положении нашелся брат Михайло (М.С. Воронцов. — М.Д.), чтобы ему до сего времени сделали? Я умалчиваю о множестве немцев, которые, по крайней

мере, равные с нами имеют преимущества»¹⁸. Даже отбросив продиктованную сиюминутной обидой претензию на то, что начальство не любит награждать его одного, легко заметить, что точка зрения на незначительность и бедность как препятствие для карьеры возникла у Ермолова не в 1817 г. Это еще резче подчеркивает искренняя радость, с которой он встретил долгожданную награду — чин полного генерала: «Я могу большим числом считать умножившихся друзей моих, ибо не против одних только виноват я старших (чином. — *М.Д.*), но и против тех, кто превосходит меня рождением, воспитанием, знатными связями, известностью у двора и проч. ... Тут входят все завидующие, которые на старшинство не смотрят... Признаюсь, что радостию моею много обязан я тому, что Государь наградил во мне простого солдата, усердного к службе, и не остановился за тем, что имя мое не столько знакомо общему слуху или не так приятно звучит в ушах, как имя, воспоминающее знаменитые заслуги, то есть, что Государь не основывается на том, что достоинства праотцов должны быть непременно наследием потомков, а смотрит на дела каждого. Иначе и тебе и мне, как и подобным нам, доставались бы в удел большие труды и весьма малые приятности»¹⁹.

Ермолов неоднократно «превентивно» отказывался от возможного присвоения ему графского титула, что было достаточно необычно на фоне тогдашней эпидемии «титуляризации» русского генералитета. Так, в марте 1818 г. он писал Закревскому, что если его «сделают» графом, то «жизни рады не будут»: «довольно с вас Милорадовичей и Торماسовых, которые от подобных пустяков без памяти», ему же, «все средства в службе заключающему, надобно то, что дает право на некоторую команду, единый способ оказать усердие и добрую волю к трудам»²⁰. Здесь уже не эмоции, а чувства, отвердевшие до принципа. Невольно вспоминаются строки из Диогена Лаэртского, где говорится, что для людей, привыкших презирать наслаждение, само это презрение становится высшим наслаждением.

Однажды Ермолов, правда, вспомнил о своей родословной, но исключительно в «тактических» целях. Сначала азербайджанским ханам, а затем и персам во время посольства он сообщил, что является потомком Чингис-хана, что было правдой, но добавил, будто его предки-татары лишь недавно стали христианами, что не совсем соответствовало действительности. «Персы с уважением смотрели на потомка столь знаменитого завоевателя». «Я видел, — замечает Ермолов, — что мне нетрудно быть потомком даже Тамерлана». Это было сделано не только для того, чтобы повеселить себя и друзей. Знаток Востока, Ермолов полагал, что в случае войны с Персией русские солдаты, возглавляемые потомком Чингис-хана, будут непобедимы. «Государь не подозре-

вает, что он между подданными своими имеет столько знаменитого человека, предупреди его... Легко быть может, что персияне узнавать будут, точно ли я чингис-хановой породы. Я писал к Каподистрию»²¹.

Кстати, аналогичную претензию высказал однажды и Давыдов:

Блаженной памяти мой предок Чингис-хан
Грабитель, озорник с аршинными усами...²²

Однако взгляд Давыдова на происхождение куда лучше характеризует не шутивное послание графу Строганову, а следующие строки из письма Закревскому: «Так как ты не из того класса, который в колыбели валяется на розовых листах и в зрелых летах не сходит с атласного дивана, а из наших братьев, перешедших на диван (и то кожаный, и по милости Царя и верной службы) с пука соломы, то я смело решаюсь опять беспокоить тебя...»²³ Здесь продолжается линия его юношеского послания к Бурцову, где внешние атрибуты быта хозяина («все диваны заменяет куль овса») — как бы знак его принадлежности к «нашим братьям».

Аналогичную позицию занимал Закревский. «Служу, как прилично званию офицера без фамилии и сколько сил имею», — пишет он Воронцову, а в следующем письме добавляет: «Никогда не могу быть ни большим барином, ни случайным человеком»²⁴. У них сформировалась психология «простолюдина», «офицера без фамилии», который сделал себя сам, всем обязан «Царю и верной службе». Ясно, что в этом случае не нужно было «подписать» себя длинной родословной — это только уменьшило бы самооценку сделанной карьеры. Такая позиция подразумевает если не прямую враждебность, то по крайней мере скепсис по отношению к представителям «класса», выросшего на «розовых листах», противопоставление себя тем, кто пользуется какими-либо преимуществами по праву рождения. Можно спросить: а как же их отношение к Воронцову? Но, во-первых, Воронцов был очень талантлив, что подтверждали и его враги, а во-вторых, перефразируя известное высказывание, у каждого якобинца есть любимый аристократ.

Впрочем, ни Ермолов, ни Закревский никогда не забывали о знатности «брата Михайлы».

В письмах Киселева и Сабанеева нет обращений к этой теме. Киселев, как говорилось, принадлежал к роду знатному, но обедневшему, что сближало его с такими людьми, как Ермолов и Закревский. Возможно, они не придавали этому значения, а возможно, что и придавали (мироощущение их несомненно близко ермоловскому), но не считали нужным писать об этом постоянно, как это делал Алексей Петрович.

Объединяло наших героев и то, что они не были придворными. Эта мысль на первый взгляд может показаться несколько странной, ибо Закревский, Воронцов и Киселев были флигель- а затем и генерал-адъютантами. Можно, например, вспомнить пушкинские строки:

На генерала Киселева
Не положу моих надежд.
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья ему не стоят ничего.

Однако в понимании героев нашего рассказа не быть придворным означало нечто иное. Что именно, хорошо показал Ермолов в своих мемуарах: «В Полоцке, по отъезде Государя (в первый месяц Отечественной войны. — М.Д.) случилось мне обедать вместе с оставшеюся его свитой, и я заметил разность в тоне, какую перемену в обращении! Государь увез с собою все величие и оставил каждого при собственных средствах. Люди, осужденные быть придворными, умеете снискать уважение собственными достоинствами или, заимствуя блеск другого, умеете его отражать... Неужели думать надобно, что много было сходства между придворными всех времен?» — риторически вопрошает Ермолов, хорошо зная ответ. Еще откровеннее эта же мысль высказана в «Записке о посольстве в Персию»: «С удивлением заметить надлежит, что люди придворные в Персии похожи на всех других придворных, и тогда как народы между собою не имеют... легчайшего подобия в свойствах, они как будто одну особенную нацию составляют, различествуя только в угодливости, которая определяется мерой просвещения»²⁵.

Ни Закревский, ни Киселев не попадали, разумеется, в эту категорию. «Придворными жителями» они были только номинально.

«Мы познакомились не в передних и не [на] вахт-параде» — эта фраза Воронцова сразу отсекает определенный круг знакомств и сообщает им ясную цену.

Жизнь «в передних» и по соседству с оными — не для наших героев. Вот, например, что писал Сабанеев Закревскому в 1823 г.: «По всем слухам я назначаюсь, как говорят все, военным министром. Господи, Боже мой! Мне, право, жить недолго, и если кому-нибудь нужно мое место, то пусть определяют меня куда хотят, только не в министры. Мне ли, грешному старому инвалиду, фигурировать на узорчатом паркете? Какую пользу принесу я, занявши такой пост?.. Знаю, чем обязан я Царю и

царству. Готов был умереть солдатом, но если высшей власти неуютно, то буду просить заблаговременно увольнения, ибо при получении уже назначения просьбу об отставке справедливым образом сочтут за упрямство...

К осени ожидаем Государя... хлопот бездна, а министерство отнимает руки: как вспомню, что надобно расстаться, так и сердце кровью обливается. Посуди, любезный, вот уже 36 лет живу с солдатом, и, наконец, в преклонных летах вместо покоя назначают министром!..

Петр Иванович (Меллер-Закомельский. — М.Д.) старше меня, да был министром, но Петр Иванович, почтеннейший Петр Иванович, дай Бог ему здоровья, век свой провел в Петербурге, а я в поле. Если думают, что я дрянной генерал, так ведь у Государя мест много — да пускай взглянут и на других лучших»²⁶.

Немногие, конечно, сочли бы пост министра наказанием, каковым его считал Сабанеев (причем совершенно искренне). Но его непреклонность имела неоспоримое для него самое основание: «узорчатый паркет» не для тех, кто «век свой провел... в поле». «36 лет живу с солдатом» — вот жизненная философия. П.И. Меллер — чудесный человек (наши герои очень его уважали), он много и храбро воевал, а все же «век провел в Петербурге». Каждому свое.

Ермолов сначала отказался от начальствования гвардейской артиллерийской бригадой и перешел в гвардию лишь по личному настоянию царя. Он упорно твердил о том, что боится парадной службы, и уже будучи в столице, пытался вернуться обратно, поближе «к солдату» и подальше от разводов, отнимавших у тех, кто служил в Петербурге, большую часть времени²⁷.

«Ты пишешь, что если бы не армейские наши товарищи, то бы умер со скуки в Петербурге, к коего большому свету ты приучить себя не можешь, — верю, брат, и похваляю! И я так же здесь живу, вижусь с одними короткими, а вельмож и знать не хочу», — сообщает Закревскому Д.В. Давыдов из Москвы в 1815 г. Закревский неоднократно жаловался на то, что в столице ему не очень-то весело, что придворная атмосфера не для него. Друзья это хорошо чувствовали. В 1820 г. Давыдов, благодаря его за помощь в получении отставки, писал: «Хотя и привык к доказательствам твоей дружбы, но всякое новое доказательство меня более и более привязывает к тебе, да идет мимо тебя чад придворный, от которого угорели так много мне известных и некогда почитаемых мною людей! Будь, что ты есть, и будешь единственный!»²⁸

Сказанному не противоречит то, что Ермолов, например, умел «политиковать по-придворному» и обладал выраженной склонностью к интригам. Все равно он не укладывался и не мог уложиться

в рамки двора, равно как и Киселев, большую часть жизни стоявший в оппозиции придворным кругам, даже в бытность министром при Николае I.

Был еще один важный момент, сближавший наших героев. Вспомним толстовскую классификацию противоборствовавших группировок в главной квартире русской армии накануне и в начале Отечественной войны: «Первая партия была: Пфуль и его последователи... К этой партии принадлежали немецкие принцы, Вольцоген, Винцингероде и другие, преимущественно немцы.

Вторая партия была противоположна первой... Кроме того, что представители этой партии были представители смелых действий, они вместе с тем были и представителями национальности. Это были русские: Багратион, начавший возвышаться Ермолов и другие. В то время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего Государя об одной милости — производства его в немцы»²⁹.

Здесь многое схвачено очень точно. Действительно, русско-немецкий антагонизм, о котором забыли при Екатерине II и который вновь возник при Павле и усилился при Александре I, был достаточно важным компонентом психологической атмосферы общества того времени. Принадлежность наших героев (исключая, возможно, Воронцова) ко второй партии бесспорна. Однако необходимо сделать некоторые пояснения.

Ермолов, описывая свои скитания по канцеляриям Военной коллегии в 1801 г., объясняет, почему, несмотря на полученные при Екатерине отличия, он долго не мог получить назначения: «Неизвестен я был в экзерциргаузах, чужд Смоленского поля, которое было школою многих знаменитых людей нашего времени»³⁰ (вспомним еще раз Воронцова: «Мы познакомились... не [на] вахт-параде»). За противопоставлением Ермолова, боевого офицера, награжденного двумя самыми почетными орденами, и «знаменитостей», выросших на Смоленском поле, легко увидеть противопоставление царствования Екатерины II царствованиям ее сына и внука: Павел привел к власти «людей новой категории», на которых опирался и Александр в своем «кротком правлении». Во что это обошлось России, Ермолов показал в своих воспоминаниях о войнах 1805—1812 гг. Павел не зря обещал «вышибить потемкинский дух» из русской армии: то, чего не успел сделать он, довершили его дети. Наши герои (кроме Давыдова и Сабанеева) переживут еще позор Крымской войны, закономерно увенчавший шестидесятилетние «страсти по Гатчине».

Известно, что Екатерина II, немка по крови, была русской, российской императрицей по самому духу своего правления (добровольно или нет — в данном случае неважно). В частности, она не допускала на высшие командные должности в армии

немцев, да и вообще иностранцев. Конечно, среди них было немало генералов и адмиралов (например, Дерфельден, Ферзен, Пален, де Рибас, Джонс и др.), но в большинстве случаев они не играли первых ролей. Другое дело Павел и Александр I. Их дворы сделались прибежищем иностранцев всех категорий, причем, увы, такие люди, как граф Штейн, были среди них в меньшинстве. Процент немцев, занимавших важные посты, резко возрос. Понятно, что это не могло радовать русских дворян, «представителей национальности», по выражению Л.Н. Толстого. Их оскорбляло предпочтение, которое Александр оказывал иностранцам типа Фуля, их возмущало, что корпоративно сплоченные немцы оттесняли русских от власти, мешали их служебному продвижению.

Ермолов и после 1812 г. оставался глашатаем недовольства немецким засильем. В 1818 г. он удивлялся, что среди командующих армиями нет ни одного с русской фамилией, а в 1820 г. деланно недоумевал по поводу того, что среди полковых гвардейских командиров ее имел только один. «Отличных людей ни в одном веке столько не бывало, а особливо немцев. По простоте нельзя не подумать, что у одного Барклая фабрика героев! Там расчислено, кажется, на сроки, и каждому немцу позволено столько времени занимать место, сколько оного потребно на отыскание другого немца, сверх ежегодно доставляемого... из Лифляндии приплода»³¹. С течением времени социальная конкуренция с немцами обострялась все больше, и наши герои были солидарны в негативном отношении к этому явлению.

«Дибич любит себя, а не службу, о которой он много говорит и трубит подчиненным, — писал Закревский Киселеву в 1820 г. — Впрочем, он ни в каком случае себя не забывает и от службы не разорится, как другие; но зато Государю потакает во всем отлично—хорошо и сим возьмет очень много. Не забудь, что он немец — эти люди редко пропадают. Дибич офицер хороший и с большими познаниями, если бы он только не придерживался последним двум достоинствам»³². Здесь очень точно определена едва ли не главная причина служебного преуспевания Дибича и иже с ним. Если наши герои позволяют себе активно не соглашаться с «Белым», когда считают это необходимым для пользы службы, то Дибич не просто со всем всегда согласен, но «потакает» царю «отлично—хорошо». Нечего уже и говорить о том, что при абсолютном бескорыстии и крайней щепетильности наших героев в отношении казенных денег их симпатии на стороне тех, кто «разоряется от службы», а не тех, кто «себя не забывает». Практически у каждого из героев этого рассказа мы найдем шпильки разной длины в адрес немцев и немецкого засилья.

Вместе с тем для них немец — далеко не всегда человек, носящий немецкую фамилию. С большим уважением и симпатией они относились, например, к Беннигсену, который, кстати, как и Дибич, не был русским подданным, к Палену (сыну главы антипавловского заговора) и многим-многим другим. Мы уж не упоминаем о любимых адъютантах Ермолова — М.А. Фонвизине и П.Х. Граббе (Фонвизины, правда, давно обрусели). Критериями здесь служили, во-первых, включенность человека в неофициальную немецкую «корпорацию», в «фабрику героев», и, во-вторых, тип поведения в широком смысле. Предпочтение, естественно, оказывалось тем, кто служил России за совесть, отдавая всего себя этой службе, а не ландскнехтам, «потакавшим» начальству и не слишком разборчивым по части казенных сумм. С этой точки зрения многие русские с полным правом могли быть названы «немцами».

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Величайшая война в истории человечества закончилась.

15 октября 1815 г. фрегат «Нортумберленд» бросил якорь у острова Св. Елены.

Еще не погребли всех, кто сложил голову на Бородинском поле, еще лежали в развалинах города и села, Березина и старая Смоленская дорога хранили следы Бедствия. Но на огромном пространстве от Москвы, где под обгоревшими липами Тверского бульвара уже давались концерты, до Вертю, где после генеральной репетиции в день Бородина 107 тыс. русских солдат и офицеров прошли на параде перед своим императором, от Петербурга, где высилась триумфальная арка, через которую русская гвардия вошла в столицу, до Неаполя, где вместо расстрелянного Мюрата королем вновь стал Фердинанд, заявивший, что он проспал двадцать пять лет (с 1789 по 1815 г.) и знать не желает, что за это время произошло, — на этом огромном пространстве уже начинали проступать контуры новой эпохи.

Русские полки возвращались домой...

Александр I привыкал к неслыханной славе и роли фактического вершителя судеб континента. Долгих четырнадцать лет он должен был строить свою жизнь, сообразуясь с существованием Наполеона. И вот теперь он стал как будто свободен. Можно было начинать строить *свой мир*.

1815—1817 гг. — завязка последующей истории страны. В эти годы намечаются направления, по которым долгие годы будет развиваться правительственная политика, внутренняя и внешняя.

Подданные российского императора привыкали к мирной жизни, точнее, отвыкали от войны, длившейся практически без перерыва с 1805 г. Сразу же после глобальных исторических катаклизмов непросто, как правило, предвидеть, что будет через несколько лет, какие из первых мирных событий окажутся эпиграфом к новой эпохе, тем более, что и Власть не всегда это знает наверняка. Нам, знающим, каков был конец, кажется, что царь недолго оставлял страну в неведении: вновь взошла — и теперь уж до нового царствования — звезда Аракчеева. Современники удивлялись, негодовали, потом смирились, продолжая негодовать, но больше про себя.

Вторая половина царствования Александра I чаще всего представляется временем беспросветной реакции с легким налетом лицемерной либеральной болтовни. Это стремление к упрощению понятно. Несколько десятков «молодых якобинцев» легче увидеть на мрачном фоне аракчеевщины, военных поселений, Священного союза, погрома университетов, мистицизма и т.п. Аракчеев и все остальное — это, естественно, правда. Но не вся. Ибо как забыть о знаменитом российском парадоксе тех лет: правительство и заговорщики в тайне ото всех одновременно пишут будущие конституции страны.

Давно известно, что содержание эпохи было куда сложнее. В те самые дни 1814 г., когда император написал Аракчееву, что пора им приниматься за дело, у него произошел следующий инцидент с Шишковым. В манифест об окончании войны адмирал вставил рассуждения о помещиках и их крестьянах, об их «на обоюдной пользе основанной, русским нравам и добродетелям свойственной связи», написанные тем сусальско-сентиментальным языком, которым скоро будут расписываться прелести военных поселений. Александр, прочтя эти слова, вспыхнул и оттолкнул текст, сказав, что не может подписывать того, что противно его совести. Он решительно вычеркнул «на обоюдной пользе основанная... связь».

Падение Сперанского в преддверии Отечественной войны означало, что царь отказался от реформ. Казалось бы, тем меньше оснований у него было возвращаться к довоенным идеям и планам: война выиграна, самое время «устроить» реакцию, которая так часто наступает после победоносной войны и в большой степени обуславливается самим фактом победы. Ведь правительство уверено в своих силах и в силе порядка, который позволил устоять и победить, к тому же на его стороне подъем патриотического чувства, который проходит не вдруг.

Однако Александр не только не забыл о реформах, но как

будто вернулся к «прекрасному началу» своего царствования. Самодержавный император готовился стать конституционным королем. В беседе с Державиным он говорил, что пора заняться внутренними делами после того, как с Божьей помощью решили дела внешние.

Члены тайных обществ, возникавших в те годы, врагами правительства станут в массе своей позднее. А пока «молодое... поколение, которое вступило на гражданское поприще в первые десять лет царствования Александра, воспитанное под влиянием свобододобивых начал, им провозглашаемых, вполне сознавало, как далеко Россия отстала от Европы в истинной цивилизации; но, любя и уважая Александра, оно спокойно ожидало от него благодетельного преобразования, готовясь усердно ему содействовать». В 1815 г. Николай Тургенев записывал в дневнике: «К чести и благополучию России наше правительство отличается либеральностью и патриотизмом». Эти юноши в большинстве своем только слышали о Павле, они не знали, что чувствовали русские офицеры после Аустерлица, Фридланда и Тильзита. Они прошли путь от Смоленска до Бородина и от Тарутина до Парижа. А это в эмоциональном плане — совсем другое взросление. Кроме прочего, им не пришлось ужасаться якобинству и хоронить идеи, которыми жили в юности, как это было с некоторыми представителями поколения Ермолова и Воронцова и более старшего. Как ни странно, по своим взглядам они были во многом ближе царю, чем его ровесники, которые в массе своей не хотели никаких изменений и неодобрительно относились даже к разговорам о возможных реформах.

После войны появились вполне легальные проекты, авторы которых намеревались покончить с крепостным правом или по крайней мере облегчить положение крестьян. Причем эти проекты выходили из-под пера таких серьезных людей, как Кочубей, шедший в карьерную гору Киселев и др. Проекты, радикальные в разной степени, но важно, что идея носилась в воздухе, и не один «западный ветер» был тому причиной. Это знак времени: необходимость перемен понимали не только юные гвардейцы, но и люди старшего поколения, хотя и далеко не все. А скоро в Варшаве Новосильцев начнет работу над «Уставной грамотой Российской империи» — будущей конституцией. Обычная полифония истории.

В 1815 г. Александру I и Ермолову было 38 лет, Воронцову — 33, Сабанееву — 43, Закревскому — 29, Киселеву — 27, Аракчееву — 46, Д. Давыдову — 31, Бенкендорфу — 35, Пушкину —

16, Карамзину — 49, М. Фонвизину — 28, Пестелю — 22, Сергею Муравьеву-Апостолу — 20, а его брату Ипполиту — 9 лет.

* * *

После войны наши герои получают новые назначения: Воронцов остается во Франции командовать русским оккупационным корпусом, Ермолов в 1816 г. становится командиром Отдельного Грузинского корпуса, Сабанеев — 6-го корпуса в Молдавии, Закревский — дежурным генералом Главного штаба; Киселев до 1819 г. совершает ряд инспекционных поездок по личным заданиям императора, а затем назначается начальником штаба 2-й армии. Весьма краткий очерк служебной деятельности наших героев позволит нам лучше уяснить как их характеры, так и общую ситуацию в стране в первые послевоенные годы.

ЗАКРЕВСКИЙ В ПЕТЕРБУРГЕ

Не у одних вас ученья; и у нас так часто бывают оные, что не знаю, куда класть больных, которых лежит в гошпиталях более 5 т. человек...

Ученья мне так надоели, что не могу вам описать. Это вам может описать Сабанеев.

Из писем А.А. Закревского М.С. Воронцову, 1816—1818 гг.

В классических, так сказать, записных реакционерах как-то не хочется открывать *личность*. Помещался человек в соответствующей табели о рангах где-то в классе Булгарина ближе к Дубельту, давно уже был удобным объектом для тренировки праведного обличительного пафоса. А тут вдруг выясняется, что и неглуп, и принципы имеет, да и не такой уж реакционер, по крайней мере в эти годы: царя поругивает, с Аракчеевым не здоровается. И вообще, чувство юмора есть. И человек «оживает». И в который раз понимаешь, как вредны стереотипы. Это — о Закревском, но не только о нем.

Д.В. Давыдов как-то писал Закревскому: «Сердце твое русское, твердость английская, а аккуратность немецкая» (не преминув, конечно, добавить, что последняя есть «единственное доброе качество сей нации»)¹. Имеющиеся в нашем распоряжении письма Закревского добавляют к этой искренне комплиментарной и, по-видимому, верной характеристике язвительный нрав при

выраженном критическом строе ума и остром чувстве собственного достоинства «офицера без фамилии». Впрочем, уже открытая вражда Закревского с цесаревичем и, что было куда опаснее, с Аракчеевым говорит о многом.

Человеку методичному и наблюдательному, Закревскому, оказавшемуся в конце 1814 г. в Петербурге, потребовалось немного времени, чтобы разобраться в порядках, царивших в высшем эшелоне власти, важным элементом которого стал он сам. Восторги первых недель после возвращения гвардии и царя улеглись, т.е. стали привычными. Да они лишь слегка потревожили обычную (вспоминая Л.Н. Толстого) жизнь Петербурга. Эта жизнь коррумпированной столицы продолжалась всегда, продолжалась она и в то время, когда где-то там, далеко, гибли сотни тысяч людей, решались судьбы человечества, рушилась империя Наполеона, а короны превратились в подобие эпюлет — их можно было получить как отличие и лишиться за проступок.

«Ваш конгресс нам так наскучил... что мы выходим из терпения и желаем, дабы царь наш скорее возвратился в Россию для искоренения явного воровства», — пишет Закревский Киселеву в Вену в начале 1815 г.² И тогда же жалуется, что должность непосильна, тяготит его, что карьера окончится командованием какой-нибудь армейской бригадой и т.п. А объясняет эти жалобы короткое замечание: «За правду начинают сердиться, молчать же мне нельзя»³. Такого рода «самооговоры» в неспособности, сетования на трудности были в некотором смысле как бы ритуальными: их можно встретить не только у наших героев, но и у многих их современников. Но в данном случае в них есть немалая доля истины, ибо люди, подобные Закревскому, должны были неизбежно вступать в конфликт с Системой.

В декабре 1815 г. Александр вернулся в Петербург. Современники согласно отмечали, что он пребывал совсем в другом настроении, чем год назад. Вигель писал: «Александр казался скучен, говорят, даже сердит. Никакими восторгами Петербург его не встретил. Казалось, Россия познала, что наступило для нее время тихое, но сумрачное. Государь начал показывать себя вновь взыскательным и строгим»⁴. Возобновилась муштра, почитавшаяся за верное средство подтягивания дисциплины, начались парады, офицерам запретили носить фраки и т.д. Словом, началась довоенная жизнь, правда, как выяснилось позднее, скорее по форме, чем по сути.

Царь попытался искоренить «явное воровство». Князь А. Горчаков, управлявший военным министерством, был отстранен от должности, его сорудники, использовавшие благодушие начальника для личной наживы, арестованы. Статс-секретарь Молчанов, замешанный во многих неблагоприятных делах, был

отставлен, Военное министерство реформировано. Из него выделен Главный штаб, ставший по сути центром военного управления; за министерством осталась продовольственная, денежная и счетная части. Штаб возглавил князь П.М. Волконский, дежурным генералом стал Закревский, военным министром — П.И. Коновницын.

Вступивший в должность Закревский хорошо описал, что скрывалось за блестящим фасадом Российской империи тех лет. Чуть ли не на «парадной лестнице», менее чем в полуверсте от Зимнего, он застал картину, которая больше всего напоминает визит Чичикову к Плюшкину: «При вступлении моем в должность я нашел инспекторский департамент в отношении к наружности в том жалком виде, который известен всякому, кто посещал когда-либо бывшую Военную коллегию. В комнатах с грязным полом и с покрытыми паутиною стенами около столов, изломанных, изрезанных и замаранных чернилами, сидели неопрятно одетые, а инде в рубищах чиновники и писаря на изломанных же, веревками связанных стульях и скамейках, где вместо подушек употреблялись журнальные книги. Большею частию стеклянные и глиняные помадные банки служили чернильницами, полено дров нередко клалось вместо прессара... Под столом и везде на полу валялись кипы бумаг в пыли и беспорядке, а между ими дрова с водою...»⁵

Легко возразить: в конце концов не интерьер Военной коллегии определял состояние русской армии. Конечно. Однако картина эта была типичной как по форме, так и по содержанию.

В прямом подчинении у Закревского находился, во-первых, инспекторский департамент, во-вторых, аудиториатский департамент, в-третьих, военно-сиротские отделения и, наконец, корпус фельдъегерей. Внутреннее состояние этих частей вполне соответствовало «наружности». В инспекторском департаменте, например, на 1 января 1816 г. оставалось около 4 тыс. нерешенных дел, в аудиториатском — одних только военно-судных дел 237, в заключении содержалось 413 подсудимых, многие из которых до шести лет и более ожидали решения своей участи. Неизвестно было даже, сколько дел рассматривалось и какие, поскольку учета не велось. Начальники на местах постоянно жаловались на нехватку способных аудиторов, т.е. военных юристов, «редкое дело не показывало упущения аудиторов, вообще неопытных»⁶. Правительство не делало ровно ничего для исправления положения, и не только потому, что шла война, но и потому, что военное судопроизводство никогда его всерьез не интересовало.

Словом, работа Закревскому предстояла большая. Уже через два-три года у него начинаются постоянные головные боли от чрезмерных «занятий» по службе, и он, едва дожив до тридцати

лет, должен был серьезно лечиться. Однако на своем посту Закревский сделал очень много полезного для русской армии.

Письма Арсения Андреевича Воронцову представляют большой интерес, ибо дают возможность судить о некоторых характерных чертах жизни столицы в 1816—1818 гг. Вот несколько выдержек из этих писем, позволяющих также определить взгляд Закревского на правительственную политику в целом:

«Скажите, где нет беспорядков и злоупотреблений по департаментам комиссариатскому и провиантскому? Сие не скоро в оных искоренить можно...»;

«Не удивляюсь, что министры наши пользе государственной мешали; когда же они сего и не делали?.. Никогда сего они не оставляли и не оставят. Я такое получил наследство по департаментам, мне порученным, что никак не надеюсь оные исправить, при всем моем усердии»;

«Под секретом. Государь... к 1-му сентября желает непременно быть в Варшаве, где намеревается, как говорят, короноваться. Очень нужно!.. Ермолову здесь так наскучило жить без толку, что в отчаянии. Все испытывает в Петербурге министров и разного роду сволочь»;

«У нас все смирно, дела идут по всем министерствам так, как вы слышите. Воровство не уменьшается»;

«У нас всякий день разводные ученья гвардии»;

«У нас кроме ученья ничего нового нет»;

«У нас поселение водворяется, и уже напечатана гр. Аракчеевым первая книжка; бредни препорядочные»;

«Гражданская часть в ужаснейшем положении противу прежнего»⁷.

Итак, воровство и злоупотребления на фоне бесконечных парадов, Польша и военные поселения как плоды деятельности императора и Аракчеева. И если «Змея» Закревский ненавидел — «вреднейший человек в России», то и к Александру I относился весьма критично. Вот, например, как Закревский описывает Воронцову введение особых фурштадтских батальонов, которые должны были снабжать армию провиантом в военное время: «Государю понравились, ездивши по мостовой; во всей форме сидит правящий фурлейт лошадьми, в кивере и сабле. Как вы думаете: неужели везде будет такая дорога во время действия, как в Петербурге мостовая?.. Нам могут служить примером фурштаты австрийские, от которых солдаты умирают с голоду. Мнения не посылайте ни к Аракчееву, ни к Государю, поздно, да и не послушают, ибо видят пользу бесполезную в Петербурге»⁸.

Это едва ли не классический образец внедрения в жизнь новейших «достижений» российской государственной «мысли». Главное, чтобы хорошо выглядело в Петербурге на мостовой.

Остальную Россию следует приравнять к Петербургу. И еще: сделать что-нибудь хорошее всегда оказывается почему-то «поздно, да и не послушают».

Закревский гораздо раньше своих друзей понял истинное положение дел в стране. Во многом ему было психологически гораздо тяжелее, чем, например, Ермолову или Сабанееву, ибо он каждый день видел, как функционирует высший эшелон Власти. Он знал больше, и не от того ли в его письмах так часто встречаются печальные обобщения, касающиеся настоящего и будущего России?

ВОРОНЦОВ ВО ФРАНЦИИ

После «Ста дней» по решению Венского конгресса Франция была оккупирована на три года. Из войск стран-победительниц была составлена армия под командованием Веллингтона. Русский оккупационный корпус (27 тыс. человек при 84 орудиях) возглавил М.С. Воронцов. Выбор царя, разумеется, не был случайным. Один из наиболее известных русских генералов, герой кампании 1814 г., Воронцов по происхождению, родственным связям с английской аристократией и образованию как нельзя лучше подходил для выполнения миссии, которая была не только военной, но и дипломатической.

Задачи, стоявшие перед Михаилом Семеновичем, были не так просты, как может показаться на первый взгляд. Конечно, маневры перемежались поездками в Париж, и не только по делам службы. Но его корпус был в основном составлен из частей, воевавших без перерыва с 1805 г., а значит, в достаточной мере уставших от дисциплины. При этом они на три года должны были оставаться «в покое, в изобильном, хорошем краю» и при отличном содержании, а порядки в этом «хорошем краю» были совсем не те, что дома. Уже кратковременное пребывание русской армии в Париже в 1814 г. показало, что демонстрировать Европу бывшим крепостным не вполне безопасно. Число беглых нижних чинов свидетельствовало отнюдь не в пользу отечественных обычаев. К тому же по соседству с корпусом Воронцова находились войска союзников, где атмосфера также была иной. «Должно было бояться, что дисциплина и субординация могут потерпеть», — докладывал Воронцов царю в 1818 г.¹ Наконец, было важно, во-первых, не оставить по себе плохой памяти во Франции и, во-вторых, сохранить хорошие отношения с союзниками.

Колоритную зарисовку жизни русских военных во Франции оставил Вигель. Через полмили после Валансьенна, в котором стояли англичане, он увидел казаков: «Невольню взыграло во мне

сердце, я вступал в русские владения... Далее показался деревянный столб, выкрашенный белою и черною краской с красными полосками. Не вдруг разглядев, что это такое, спросил я у ямщика. «Да это проклятые черти русские поставили нам», — отвечал он с досадой, принимая меня за француза. Написано было по-русски расстояние от каждого городка, и я, считая версты, поехал как бы по Московской дороге. Каково было смотреть на это воинам Наполеона, которые осенью в двенадцатом году утверждали, что Смоленск во Франции! Никто из других военачальников Веллингтоновой армии ничего подобного не мог себе позволить. За такую наглость спасибо Воронцову, хотя она могла иметь вредные последствия. С великобританской гордостью, враг Наполеона и Франции, он по-русски умел подражать их хвастовству. Тщеславие жителей не дало им понять, сколь унижительно такое хозяйничанье для их национальной чести, а я тотчас почувствовал, как оно усладительно для нашего народного самолюбия». Русские, пишет Вигель, были щедры, жили широко в отличие от англичан и пруссаков и, «следуя примеру своего начальника, были приветливо горды с жителями и старались задабривать их ласками и деньгами». В Мобеже, где располагалась корпусная квартира, французской речи слышно не было вовсе. Вигель нашел там не только квас и блины, но и русскую баню².

Самым популярным человеком здесь был, конечно, Воронцов: «Надобно... предполагать в нем нечто необычайное, покоряющее ему людей, несмотря на все его слабости. Мобеж был полон его имени, оно произносилось на каждом шагу и через каждые пять минут. Он составил дружину из преданных ему душою... людей. Для них имел он непогрешимость папы; он не мог сделать ничего несправедливого или неискусного, ничего сказать неуместного; беспрестанно грешили они против заповеди, которая говорит: не сотвори себе кумира. Не быв царем, вечно слышал он около себя лесть, только чистосердечную, энтузиазмом к нему произведенную»³. Вигель не любил Воронцова, и тем ценнее нотки восхищения, прорывающиеся в этом описании.

Воронцов, к слову говоря, умел оградить достоинство России и «усладить народное самолюбие» не только установкой верстовых столбов между «Волосенем» и «Овином» (так солдаты называли Валансьенн и Авен). Отношения с французами не всегда были такими идиллическими, как описывает Вигель. Особенно часто случались поначалу конфликты с таможенниками, причем виноваты бывали обе стороны (Воронцов писал Закревскому, что казаки с трудом понимают, почему провезти табак через границу — преступление). По конвенции, в случае конфликтов и столкновений нарушители выдавались «своему» начальству и должны были судиться по законам своей страны. Французские власти

первое время не были склонны выполнять это условие. Дело дошло до того, что они дали возможность убежать из-под стражи таможеннику, который без всякого повода убил казака, и при этом уверяли Воронцова, что судят его. Веллингтон был в отъезде, но Воронцов не стал ждать его возвращения. «Дабы с самого начала преградить путь к подобному вперед, я решился сам объявить французским высшим властям, что после столь постыдного поступка одного из важных гражданских мест (Авенского трибунала. — М.Д.) я должен был неминуемо вопреки конвенции почитать себя на военной ноге и что каждого виновного против нас француза будут судить нашими законами и подвергать по оным наказанию, хотя бы привелось и расстрелять»⁴. Одновременно по корпусу был отдан приказ всех виновных французов приводить под караулом в главную квартиру. Ответ Парижа, внешне лояльный, по сути содержал отказ в требовании Воронцова судить виновных в побеге убийцы казака. Вскоре неподалеку от таможи был убит русский артиллерист. Тогда Воронцов послал две роты, арестовавшие всю таможенную команду во главе с офицером. Хотя следствие показало их невиновность, Воронцов продержал их под стражей 36 часов, а на прощание заметил, что «ежели бы между ими в сем случае нашел убийцу, то тут же на площади по суду оный был бы расстрелян».

«Сие столь подействовало, — сообщает Воронцов царю, — что вслед за сим последовало из Парижа удовлетворительное исполнение моего настояния... С тех пор вообще трибуналы, по крайней мере, сколько до судей касалось, показывали нам не только беспристрастие, но даже усердие и ревность»⁵.

Вигель был человеком посторонним и к тому же невоенным. А между тем именно скрытая от наблюдателя деятельность Воронцова заслуживает пристального внимания. И дело не только в знаменитом факте отмены им телесных наказаний во время учений.

Из мер, принятых Воронцовым для «поддержания отечественных обыкновений и связей», наибольший интерес представляет следующая. «Я думал, — пишет он в той же докладной записке, — что получение писем из России от родных могло действовать на расположение солдат к отечественным связям, и потому всеми мерами старался доставлять им способы отправлять и получать письма. Сие обыкновение, почти неизвестное в нашей армии, и малое число партикулярных писем... особливо к нижним чинам — почти всегда пропадало... Я имел удовольствие достигнуть желаемого предмета; в доказательство чего может служить, что одних солдатских писем отправлено было... более 20 000», точнее — 20,8 тыс.⁶ Что и говорить, данный факт плохо укладывается

в привычные представления о русской армии первой четверти XIX в., да и о самом Воронцове. Кто же писал эти письма?

Воронцов сообщает, что за годы войны число грамотных младших командиров уменьшилось настолько, что были унтер-офицеры и фельдфебели, «не умеющие грамоте». Ранее (вероятно, в 26-й дивизии) Воронцов устраивал школы, в которых преподавали офицеры и полковые священники. Но, несмотря на рост числа школ, дело подвигалось медленно. Тогда он обратился к «ландкастеровой методе взаимного обучения». В корпусе открыли 4 училища, для постановки обучения был приглашен французский специалист. Общее руководство осуществлял С.И. Тургенев. «Сей способ обучения... очень скоро и с желаемым успехом распространился на значительное число нижних чинов», — пишет Воронцов⁷. Согласно ведомости, приложенной к докладной записке, грамоте учился 1381 человек⁸. Это примерно 4—5 солдат из 100. Казалось бы, немного. Но это смотря с чем сравнивать. В 1912 г., за пять лет до Октября, на 100 новобранцев в русской армии приходилось чуть больше 60 неграмотных (для сравнения: в германской — 0,02, в шведской — 0,3 неграмотных)⁹. Так что по тому времени число обучавшихся не столь уж мало, тем более что грамотные в него не включены.

Училище в Мобеже посетил сам император, и оно удостоилось всемирнолюбивейшего одобрения. Характерно, что обучение не стоило правительству ни сантима дополнительных расходов. Более того, Воронцов приготовил все необходимое для открытия ланкастерских школ в армии и вообще в России, причем, по его уверению, в неограниченном количестве¹⁰.

Но обучение грамоте было не самой главной задачей. «Дабы сравнение с прочими войсками не имело худых последствий, нужно было смотреть за обхождением с солдатом... Я был всегда уверен, что, дабы укротить пороки и вместе с тем поддержать дух и надежду добрых солдат, нужно строгое и неослабное наказание за важные проступки, сопряженное с действительными мерами для укрощения бесчеловечных и без разбору, на одном капризе основанных притязаний (начальников. — М.Д.), особливо таких, кои еще к несчастью у нас в армии употребляются для узнания виновных, весьма часто делается сие над невинными и честными солдатами. Пытка сия, столь противная Божеским законам и высочайшей воле Вашего Императорского Величества, нередко вводит сих людей в отчаяние, а от оногo к пьянству и в те самые пороки, коими они прежде невинно обвинялись. Одна из главных и самых нужных вещей есть, чтобы солдат знал, что за хорошее поведение в службе, честность, усердие и ревность в учении он также должен надеяться на хорошее обращение с ним начальников, как противное поведение немедленно приведет его

к строгому и справедливому наказанию»¹¹, — излагал свою программу царю Воронцов.

По корпусу был отдан приказ, «чтобы не было бесчеловечия», чтобы наказание было соразмерно вине и чтобы сведения о всех телесных наказаниях вносились в особую книгу. По утверждению Воронцова, «меры сии возымели желаемый успех», ибо солдаты увидели, что за «смертоубийство, разбой, кражу, неповиновение и грубость к начальству» корпусной командир наказаний не убавляет «почти никогда», и наоборот, «за меньшие или неумышленные проступки» он смягчает приговор их непосредственных командиров, а невинных не наказывает вовсе. Практически исчезло воровство, хотя Воронцов запретил употреблять насилие при следствии. Он твердо был убежден, что лучше не найти виновника, чем истязать невинного, наказывая его за чужие преступления, поскольку солдаты, «привыкая к возможности наказания, легко привыкают и к возможности преступления»¹².

Поведение русских солдат во Франции, высоко оцененное императором, Воронцов считал лучшим свидетельством правильности своих принципов. Характерно, что и солдаты, по его мнению, убедились в том, что их служба не тяжелее, чем в армиях союзников, где телесные наказания применялись чаще. Еще одно доказательство правоты Воронцова — ничтожно малое число дезертиров, «особливо при выходе из Франции». Всего бежало 280 человек (в 4,5 раза меньше, чем училось грамоте), 155 было поймано и возвращено¹³.

Подобный взгляд на дисциплинарную практику сложился у Воронцова еще до Франции. Уже в период командования дивизией он был известен как либеральный, гуманный начальник. В 1815 г. Сабанеев писал ему, что жители Бреславля, через который проходила воронцовская дивизия, якобы сильно пострадали от бесчинства его солдат. «Смотри, дружище, воля и холя суть две вещи различные: солдата беречь нужно, но не до такой степени, чтобы от того только, что офицер солдата бить не может, последний его и в грош не ставил», — пишет тактичный с друзьями Сабанеев, добавляя, что ему, возможно, «соврали», уверяя, что будто и офицеры не могли унять солдат¹⁴.

Воронцов отвечал, что Сабанеева, конечно, обманули, ибо Барклай де Толли, специально интересовавшийся этим вопросом, дважды объявлял благодарность — самому Воронцову и шефам его полков — именно за отличное поведение солдат. Более того, фельдмаршал отметил дивизию в письме к царю. «Что не позволяю офицерам бить солдат за учение или без учения за ничто по своевольству, это правда; но не вижу, отчего сие может быть вредно... Солдат, который ждет равно наказания за разбой и за то, что он не умел хорошо явиться вестовым, привыкает

думать, что и грехи сии суть равные... Пощечины дурного солдата не исправляют, а хорошего портят... Я всегда в себе думал, что ежели по опыту найду, что военная служба без пустого и *без резонного* бесчеловечия существовать не может, то я в оной не слуга и пойду в отставку»¹⁵.

Звучный оборот «резонное бесчеловечие» кажется парадоксальным лишь на первый взгляд. Воронцов просто не боится называть вещи своими именами. Война жестока, жестока по необходимости и жизнь военных, но в ней не должно быть места произволу. Такова мысль Воронцова. Жестокое наказание допустимо, но только тогда, когда оно заслужено. Словом, упрекнуть в мягкотелости Воронцова нельзя. Современники, однако, были иного мнения.

В феврале 1816 г. Закревский, видимо, встревоженный начавшими распространяться слухами о либеральном управлении Воронцова, писал ему: «Не давайте потачки людям и держите весь корпус в субординации, дабы можно было... привести домой»¹⁶. Но Михаил Семенович и не думал потакать подчиненным. Апшеронский полк, который он сам счел «офранцузившимся», был немедленно отправлен в Россию.

Особого внимания заслуживают настойчивые попытки Воронцова привить русским офицерам и солдатам начатки правового сознания. Он стремился поднять дисциплинарную практику на более высокий уровень путем усиления законности.

В феврале 1816 г. он изложил Закревскому свой взгляд на постановку судопроизводства в русской армии. «Судная часть», по его мнению, стоит на гораздо более низкой ступени развития, чем другие компоненты армейской структуры. Происходит это не от недостатка законов, а, напротив, от незнания их военными юристами. «Петр Великий, основатель всего у нас и виновник величия России», говорил, что боевые офицеры не могут хорошо разбираться в законах, «ибо другим должны заниматься искусством». Поэтому армии нужны люди, имеющие специальную юридическую подготовку, профессионалы, знающие «совершенно все права и законы». «Какая критика на наших аудиторов! — восклицает Воронцов. — Вместо того, чтобы иметь юриста, понимающего как общие права, так и дух и смысл законов, у нас аудиторы... фельдфебели и унтер-офицеры из крестьян, чуть-чуть читать и писать умеющие и привыкшие думать, а часто и *чувствовать*, что палка есть единственный закон, и управление роты верх человеческого искусства». Какое варварское противоречие!.. Какой вред для армии...»¹⁷

Воронцов просит обратить на это внимание царя. Необходимы реорганизация судопроизводства и «соблюдение правил, всеми народами принятых и в наших же уложениях начертанных».

Следует прекратить практику производства в аудиторы младшего командного состава за храбрость или двенадцатилетнюю беспорочную службу, «сопряженную с умением грамоты... ибо сии качества, хотя почтенные, не имеют никакого отношения с должностию указателя и блюстителя законов». Кроме того, считает Воронцов, нужно увеличить жалованье аудиторам, по примеру военных медиков, которые после 1805—1807 гг. получили возможность жить «честно и хорошо». Среди конкретных мер, призванных улучшить ход судопроизводства, Воронцов указывает на публичность, гласность суда. У себя в корпусе он ввел особые «правила... для судопроизводства», в том числе и такие, которых аудиториат не знал¹⁸.

Закревский, хотя и согласился с Воронцовым, отвечал, что ему теперь не до аудиториата, ибо он пытается облегчить участь людей, арестованных восемь-девять лет назад и все еще находящихся в тюрьме. Впрочем, принципиальное согласие Закревского несколько снижает следующая фраза: «И без того от новых преобразований по всем частям не знаем, куда деться»¹⁹. Мысль эта едва ли случайна.

Летом 1816 г. Главный штаб начал выпускать под руководством Закревского такую нужную книгу, как Собрание законов и постановлений по военному ведомству. При получении ее в Мобеже произошел следующий курьезный, но притом показательный случай, не без юмора описанный Воронцовым: «Все присутствующие в комнате кинулись с жадностью на оную (книгу. — М.Д.) и все кричали: «Военные законы! Военные постановления! Надо подписаться, надо!» Но вдруг вообрази несчастье, отворяют книгу и как будто нарочно на листке, который при сем прилагается, а именно, что запрещается из-за галстуха показывать рубашки — приказ Волконского, все охладели, повернулись и никто не подписывается. Я их уговариваю, но все, как глухие, мне и не отвечают, ужасно упрямый народ»²⁰.

Закревский не на шутку обиделся и отвечал, что, дескать, чем меньше офицеров у Воронцова подпишется, тем больше он будет рад, а вот смеяться над приказом, объявленным по воле государя, не стоит. В других корпусах, пишет Арсений Андреевич, книга нравится: «видно они не так просвещены, как в вашем корпусе».

Воронцов был удивлен: «Признаюсь, что хотя знал, что с авторами об их сочинениях шутить нельзя, не ожидал, что ты вступишься как автор и так горячо за сочинение, которое не что иное, как приказы и постановления, выдаваемые по армии и у вас сшитые вместе. Впрочем, я о пользе сего собрания никак спорить не намерен, но невинная шутка о названии *законом* приказа о непоказывании за галстухом белой рубашки, кажется,

не есть вещь криминальная, и примечание твое о нашем здесь просвещении так же тут кстати, как седло корове»²¹.

Шутка Воронцова при всей своей «невинности» во многом отражала настоящее положение вещей: Власть, нацеливавшаяся в то время на переустройство российской жизни, считала законом мелкий дисциплинарный приказ.

Весьма симптоматично и язвительное замечание Закревского о чрезмерной «просвещенности» корпуса Воронцова. Закревский, по-видимому, просто дал волю раздражению, но при этом ударил в больное место. Дело в том, что деятельность Воронцова во Франции прежде всего дала пищу, увы, языкам, а не умам. Для России того времени официальное запрещение бить солдат (хотя бы и ограниченное) было фактом *беспрецедентным*. Даже ближайшие друзья не одобряли Воронцова. Быстрое и широкое распространение получили слухи о том, что корпус якобы избалован его мягким управлением, «офранцузился» и «отатарился» одновременно (это были синонимы падения дисциплины, но с разным оттенком: первое означало уклон в либерализм-вольнодумство, второе — в анархию; различие, впрочем, несущественное с точки зрения дисциплинарного устава). Весьма благосклонный отзыв о корпусе великого князя Михаила Павловича, осматривавшего его в 1817 г., ситуации не изменил.

Все это крайне огорчало Воронцова, человека обидчивого и отлично знавшего себе цену. Практически в каждом из известных писем его к Закревскому в 1817—1818 гг. он говорит об этих сплетнях и, как водится, собирается подавать в отставку.

На устойчивом мнении об «испорченности» воронцовского корпуса необходимо остановиться подробнее.

В определенном смысле появление слухов — и именно нелепых — в данном случае было как бы запрограммировано. Слишком необычно было положение Воронцова. Слишком заметен и необычен был он сам. Хватало и завистников; Воронцов всегда служил объектом для зависти — блестящая карьера аристократа-миллионера не давала покоя многим. Утешения Закревского, писавшего Воронцову, что российский двор, одетый в мундиры с эполетами, гораздо «вреднее» обычного, одетого в шитые кафтаны, и что в России иначе быть не может, помогали мало. Н.М. Лонгинов в 1820 г. сообщал графу С.Р. Воронцову, что еще в 1815—1816 гг. он уведомил Михаила Семеновича, что «многие влиятельные здесь лица, узнав о преимуществах, дарованных войскам [его] ...рескриптом Государя... заявляли, что по возвращении этих полков из Франции нужно будет подыскать для них необитаемый остров, иначе прочим войскам нельзя будет примириться с их старыми распорядками; да к тому же и содержание этих путешественников не подойдет уже к установ-

ленному содержанию прочих войск». Лонгинова уверяли, что, когда подняли вопрос о сформировании оккупационной армии во Франции, фельдмаршал Барклай сказал Государю: «Ваше Величество! Вам нужно помнить, что Вы выиграли сражение, но потеряли 30 тыс. человек!»²²

Крайне важен вопрос о степени достоверности этих слухов. Повторим, что уже и ограничения телесных наказаний было довольно для их возникновения. Но, видимо, было и нечто другое, о чем пока можно судить лишь приблизительно.

По возвращении в Россию Александр I прочел так называемую записку Бенкендорфа — донос библиотекаря гвардейского штаба Грибовского, принятого в «Союз Благоденствия», переданный через посредство тогдашнего начальника штаба А.Х. Бенкендорфа. Это документ весьма точный; полагают, что именно его точность обеспечила в числе прочего за Бенкендорфом III Отделение. В записке, в частности, говорится, что руководителя «положено было избрать, когда было бы уже все готово, из вельмож, уважаемых войском и народом и недовольных правительством. Самая большая надежда возлагалась на находящиеся во Франции войска и на графа Воронцова, на которого действовали Тургеневы»²³.

Тут есть над чем подумать. «Записка» достоверна почти во всем, и мы не можем утверждать, что в данном случае Грибовский ошибается. Но одновременно в нашем распоряжении нет прямых данных, подтверждающих его версию. Правда, есть косвенные.

Так, Вигель пишет, что ближайшие сотрудники Воронцова (его штаб, или «двор») «ужасно как либеральничали». По терминологии Вигеля, это если и не революционность в нашем понимании, то по крайней мере оппозиционность. О том, что «двор» Воронцова отличался весьма либеральными взглядами, пишет и Михаил Бестужев, участвовавший в перевозке части корпуса Воронцова из Франции в Россию. Моряки, говорит он, всегда трудно сходятся с новыми людьми, а уж тем более с пехотинцами. «Но тут было противное. Большая часть даже из самых дубиноватых офицеров... все они утратили этот вечно присущий русской армии солдатизм и либеральничали. Тем более этот дух проявлялся в высшей иерархии корпуса Воронцова, между офицерами его штаба, с которыми мы очень сблизились... Понятно, почему весь этот корпус, по возвращении его в Россию, был раскассирован»²⁴.

Нельзя в связи с этим не вспомнить и загадочной поездки М.А. Фонвизина в 1817 г. к Воронцову, у которого он провел несколько месяцев. С.В. Житомирская и С.В. Мироненко справедливо полагают, что выяснение этого вопроса могло бы пролить свет на историю раннедекабристских организаций²⁵. В корпусе

действовала масонская ложа, деятельность которой, возможно, следует поставить в один ряд с приведенными выше фактами.

Какова же позиция самого Воронцова по отношению к «либеральничанью» своего окружения? Ясно, что в таких случаях командующий не может не задавать тон, не стимулировать тех или иных настроений у сотрудников влюбленного в него штаба. Его позиция тут решающая. Это подтверждает, в частности, обмен мнениями между Киселевым и Закревским, состоявшийся в июле—августе 1819 г.

Киселев выразил недоумение, «почему опорочили до такой крайности войска, из Франции возвращающиеся». Он осмотрел Якутский полк и остался им очень доволен «по всем частям», включая «нравственность солдат». По его мнению, этот полк — один из лучших во 2-й армии. Киселев долго беседовал с бывшим начальником штаба Воронцова Понсетом, который «согласился, что Воронцов не прав во многом и особенно в том, что полагал геройством не скрывать пренебрежения ко всему, что свыше приходило, и порочить явно все постановления, которые по званию своему обязан был представлять не на посмешище, но на уважение подчиненных своих, либо не служить!»²⁶ Закревский отвечал: «Корпус французский более не нравится по наговорам, чем по настоящему делу. Привычка осуждать свыше присланное это дурно, и сам, конечно, граф Воронцов много зла сделал как себе, так и корпусу. Были приятели, которые все слушали и переносили, кому следует»²⁷.

Это сообщение во многом объясняет причины весьма напряженного отношения Александра I к Воронцову. После 1818 г. последний практически оставался не у дел, пока в 1823 г. не сменил графа Ланжерона на посту новороссийского генерал-губернатора. Воронцова два раза обходили производством в полные генералы, хотя в 1815 г. ему намекали, что чин он получит. Награда за успешное завершение миссии во Франции — орден Владимира 1-й степени — не соответствовала уровню решенной задачи: орден был весьма престижный, но порой Александр I награждал им за успешный смотр. Вдобавок корпус был расформирован, что также не случайно. С точки зрения военной целесообразности такой шаг был едва ли разумен; скорее всего, возобладали политические мотивы. Более того, десять полков из корпуса были отправлены к Ермолову, из Франции в Закавказье, — в этом легко усмотреть тонкую издевку. Они тоже были расформированы и поротно присоединены к ермоловским полкам. И данное решение в контексте вышесказанного имеет определенное толкование: царь стремился максимально раздробить «избалованные» части корпуса, нужно полагать, для того, чтобы побыстрее выветрился «французский» дух. Характерно, что в

Кавказском корпусе бывшие воронцовские солдаты имели репутацию «испорченных».

Итак, в рассматриваемый период Воронцов занимал весьма либеральные позиции, особенно на фоне настроений высшего эшелона бюрократии, и упоминание его имени в связи с выбором главы будущего правительства не выглядит искусственным.

ЕРМОЛОВ НА КАВКАЗЕ — 1

В апреле 1816 г. Ермолов был назначен главнокомандующим в Грузии, т.е. командиром Отдельного Грузинского корпуса и главноначальствующим в Грузии и Астраханской губернии. Одновременно было объявлено о том, что он поедет послом в Персию. В декабре 1816 г. он прибыл в Тифлис. Началось его десятилетнее «проконсульство» на Кавказе.

Вопреки укоренившемуся мнению, что это назначение было своего рода ссылкой, куда его отправили происками Аракчеева и Волконского, якобы ужасно боявшихся растущего влияния Алексея Петровича на Александра I, который будто бы тоже боялся, но уже априори, сам Ермолов не только так не считал, но, напротив, даже мечтал об этой «ссылке». В феврале 1816 г. он писал Закревскому, помогавшему ему через Волконского получить это место: «Поистине скажу тебе, что во сне грезится та сторона (Грузия. — М.Д.) и все прочие желания умерли. Не хочу скрыть от тебя, что гренадерский корпус меня сокрушает... Не упускай случай помочь мне и отправить на Восток»¹. А в мае 1816 г. Ермолов сообщал Воронцову, что готовится ехать на Кавказ: «Вот... исполнившееся давнее желание мое. Боялся я остаться в гранодерском корпусе, где бы наскучила мне единообразная и недейственная служба моя. Теперь вступаю я в обширный круг деятельности... Делать есть что!»²

Ермолов не был новичком в этих местах. В 1796 г. он, тогда еще артиллерийский капитан, участвовал в Дербентском походе В.А. Зубова (может быть, именно Ермолов выпустил последнее ядро в многобатальное царствование «Матушки»! Во всяком случае — одно из последних).

Кавказу еще долго предстояло оставаться страной мифической, легендарной, почти такой же, как Индия. О нем как бы забыли в то эпическое время, когда решались судьбы Европы. А между тем на Кавказе с 1805 г. шла долгая и тоже как бы забытая война с Персией, которая окончилась победой малочисленных русских войск под командованием героического Котляревского. В 1813 г. был подписан Гюлистанский мир (Ермолов должен был закончить территориальное разграничение по этому договору).

Мрачно-кокетливое, но оттого не менее внушительное прозвище «Проконсул», распространенное тогда среди приятелей Ермолова, вполне соответствовало его положению. Он получил власть над обширной территорией от Кубани до Волги и от степей Северного Кавказа до Эриванского ханства. На этой древней земле обитали десятки народов, многие из которых имели тысячелетнюю историю и традиции; отношения между ними были весьма непростыми. Этот узел острых противоречий — национальных, религиозных, социальных и, наконец, межгосударственных — Россия бралась разрешить.

Можно думать, что Ермолов, пока не прибыл на Кавказ, и сам не осознавал реального масштаба стоявших перед ним задач. Но энтузиазм незнания, огромное самолюбие не позволяли ему признаться в этом (традиционные для наших героев, и не только для них, сетования на собственную неспособность — не в счет). В первом письме из Тифлиса в Париж он писал Воронцову: «Беспорядок во всем чрезвычайный. В народе врожденная к нему склонность, слабостию многих из предместников моих ободренная. Мне надобно употребить чрезвычайную строгость, которая здесь не понравится... Наши собственные чиновники, отдохнув от страха, который вселяла в них строгость славного князя Цицианова, пустились в грабительство и меня возненавидят, ибо также и я жестокий разбойников гонитель. Я не в состоянии заменить их лучшими, следовательно, верных помощников иметь не буду». Что касается русских офицеров, то «половину оставшихся надобно удалить, ибо и самое снисхождение терпеть их не в состоянии. Необходимы меры весьма строгие. Они не заставят любить меня»³. Таким образом, главное средство для приведения дел в порядок — строгость, строгость и строгость, причем по отношению не только к местным жителям, но и к непосредственным подчиненным Ермолова.

Едва ли не главной проблемой для Ермолова были войска Грузинского корпуса. «Обстоятельно вникал я в образ жизни войск... Нимало не удивляюсь чрезмерной их убыли. Если нашел я кое-где казармы, то сырые, тесные и грозящие падением, в коих можно только содержать людей за преступление, но и таковых немного, большею частию землянки, истинное гнездо всех болезней, опустошающих прекрасные здешние войска. Какая тяжкая служба офицеров, какая жизнь несчастная!», «провиантская часть с ума сводит. В магазинах нет ничего», «кроме славного Котляревского все прочие (полковые командиры. — М.Д.) обзавелись хуторами, табунами и хозяйством, а полкам от того ни малейшей нет пользы», — писал он Закревскому⁴.

Трудностей было много, но много было и «доброй воли к трудам». Ермолов пытался облегчить положение солдат, выбивал

у начальства деньги на строительство казарм, лазаретов, питание. Все это было непросто. Характерный пример. Считая существовавшую тогда солдатскую форму не пригодной для кавказского климата, Ермолов был убежден, что ее изменение позволит уменьшить болезни и смертность, и начал ходатайствовать об этом перед Петербургом. «Может быть, негодовать будут на меня, что я нахожу некоторые вещи в одежде солдата несвойственными здешнему климату и представляю о перемене их, но я не виноват, что здесь солнце более согревает, нежели у вас, и что здесь природа, если не большим трудам подвергает солдата, то, конечно, совсем другого рода (намек на бесконечную муштру. — М.Д.). Я вижу возможность сделать одно постановление для войск по всему пространству России, ибо оно у нас существует, но одной высочайшей воли недостаточно, чтобы оно равно было удобно для Камчатки и [для] Грузии. Вот мое оправдание!» — сообщал он Закревскому⁵. Когда Ермолов встает в позицию вольтеровского Простодушного, это значит, что он весьма раздражен. Вообще же его «артподготовка» ходатайства по данному вопросу столь всесторонне аргументирована, а пафос достигает такого накала, что можно подумать, будто речь идет по меньшей мере о самовольном походе к Персидскому заливу, а не о том, чтобы заменить солдатский ранец на вещмешок: «На Литейной (т.е. Аракчеев. — М.Д.) дадут мне звону за умствования, но я служу Государю и служу немного и собственному имени моему. Не наше дело помышлять об огромной славе, по крайней мере стараться надобно о добром имени»⁶.

Увы, нам трудно оценить гражданское мужество Ермолова: ведь это времена, когда царь изменял состав полков в драгунских дивизиях только для того, чтобы обеспечить сочетаемость цвета воротников на мундирах.

Другой предмет забот Ермолова — офицерские кадры. Он стремился улучшить быт офицеров, их материальное положение, выводил достойных офицеров из забвения, в котором они находились долгие годы, живя на краю света без продвижения и внимания со стороны начальства. Ермолов резонно спрашивал у Закревского, как должны люди, десять лет сидящие в обер-офицерских чинах, смотреть на гвардию, «которая печатает полковников, как ассигнации». Письма Ермолова наполнены разнообразными просьбами о тех или иных формах поощрения достойных офицеров и генералов.

Но к его огромному сожалению, таких было гораздо меньше, чем нужно. «А небогаты мы славными офицерами!» — эту фразу постоянно повторяет Ермолов (и его друзья). За каждого хорошего офицера он борется, как за своего родственника, рекламирует, «обменивается» при случае с друзьями, стараясь вывести «в люди»,

причем эту сферу деятельности — дать «Государю отличного слугу» — считает очень важной.

Значимость этой проблемы для армии трудно преувеличить. Огромное войско требовало значительного офицерского корпуса, а подготовленных офицеров катастрофически не хватало. Да и откуда им было взяться, если система военно-учебных заведений воспитывала прежде всего «фрунтовики». Закревский писал Киселеву, что хорошо, если один кадет из десяти хоть на что-то годен.

Между тем из плохих офицеров вырастали еще худшие генералы, ибо скверно командовать ротой или батальоном и не знать, что делать с полком, бригадой, дивизией, — совсем разные вещи. Тут количество переходит в качество. А система продвижения по служебной лестнице, которая всегда зависит от «господствующих наклонностей» носителей Власти, двигала вперед плац-парадные «знаменитости», людей, которые, по мнению Ермолова, «оставляют испытателей природы в недоумении, к которому царству они принадлежат»⁷.

Ермоловские комментарии к производствам и поощрениям большинства русских генералов, характеристики сослуживцев — едва ли не самые яркие строки его писем. Тут его знаменитое остроумие проявилось во всем блеске. Вот некоторые из его отзывов о генералах своего корпуса:

«Здесь есть у меня генерал-майор Тихановский, старый весьма офицер и довольно много служивший, но утомленные службою силы свои нередко укрепляет такими средствами, которые ноги ослабляют... Сжальтесь надо мною, и без него есть у меня генералы, ни на что не годные. В сем смысле особенно рекомендую Загорского, Мерлини, хорош и Пестель (родной брат декабриста. — М.Д.). Он поехал в отпуск и лично будет иметь честь представить тебе свою неспособность»⁸;

«Что ты не утетишь меня переводом Загорского в другую дивизию в Россию? Он престарательный и усердный человек, но здесь надобно поумнее немного... Не подумай, однако же, чтобы я хотел сбить его с рук, боюсь, что нет, и даже не менее в состоянии хлопотать, чтобы ты перевел Дренякина. Этот не менее глуп, но никак не хочет того чувствовать и умничает от того, что долго квартирмейстерская часть равнодушно смотрела на его неспособность. Избавь меня хоть от этого... Не могу я похвастать и германским рыцарем Пестелем, но он у меня из лучших... Жаль, что нет в нем живости; он также принадлежит к тому числу людей, которых по справедливости уподоблю я Ледовитому полюсу. Мерлини у меня такая редкая....., что уже грех кого-нибудь снабдить им и всеконечно надобно оставить у меня, ибо я почитаю в лице его волю Бога, меня наказующую. Есть

какие-нибудь тяжкие грехи мои! Представь жалостное мое положение, что я должен еще дать ему бригаду..... . Истолкуй мне, почтенный Арсений, какой злой дух понуждает вас производить подобных генералов? Не изобрел ли кто системы, доказующей, что генералы суть твари, совсем для войск ненадобные, и что они могут быть болванами для удобнейшей просушки с золотым шитьем мундиров? Это было бы преполозное открытие, которое бы многим простакам доказало, как грубо доселе они ошибались. Сообщи мне о сем для моего успокоения, если то не тайна государственная!»⁹

Подобные мысли совершенно обычны для Ермолова. Доходило до того, что он не отправлял этих генералов к местам службы — «как бы чего не вышло!» Ведь на Кавказе командование бригадами и дивизиями было сопряжено еще и с управлением областями, в которых они дислоцировались. Поэтому Ермолов решил собрать генералов в Тифлисе, а все дела вести через толковых офицеров.

Конечно, смешно читать эти характеристики. Но Ермолову было не до смеха. Ведь каждый из «болванов для удобнейшей просушки с золотым шитьем мундиров» командовал тысячами людей, которые расплачивались своими жизнями за их бездарность в военное время и за пристрастие к муштре или просто равнодушие в мирные годы. Разумеется, генералами становились и люди способные, но гораздо чаще — неспособные, потому что их было больше, потому что они отвечали требованиям Системы, потому что у власти были их «братья по духу». Еще в 1815 г. Воронцов убеждал Сабанеева отправить в отпуск, а затем в отставку одного из своих подчиненных: «Позвольте ему ехать Бога ради. Неужто я бы о сем просил, ежели бы не знал, что присутствие его в дивизии не только не нужно, но вредно?.. Что может быть лучше и счастливее для армии, как избавиться от дряни в генеральских чинах? Неужто это не понимают и не чувствуют? Мне ли в этом не верят? Так зачем поручают дивизию? Что за манер, что о вещи, не стоящей другого предмета, кроме пользы службы, надо просить мне как о партикулярной себе милости и всегда ждать отказа? Кому нужнее, чтобы 12-я дивизия была хорошая и поддержала славу оружия нашего? Ведь не мне столько, не графу Воронцову, который может быть переведен в другую дивизию и куда угодно, и может дома жить спокойно и благополучно. Армии это нужно, Александру Павловичу и отечеству нашему, России»¹⁰. Воронцов здесь тонко подметил очень важную особенность функционирования бюрократической системы: люди, которые искренне стремятся к «пользе службы», весьма часто воспринимаются как докучливые просители «партикулярных себе милостей». И, конечно, редко поощряются.

Ермолов постоянно повторяет: «не мне делаются отказы», я ведь не для себя прошу, а для службы.

Увы, за десять лет, с 1815 по 1825 г., положение только ухудшилось. Постепенно сходили со сцены герои 1812 г., а на их места чаще всего приходили люди типа Шварца и Клейнмихеля, герои вахт-парадов, строители «зеленых улиц», обитатели «передних». Но это, повторим, было вполне закономерно.

САБАНЕЕВ В БЕССАРАБИИ

У нас все делай и все делай как-нибудь. Нигде столько не мараются бумаги и не выдумано столько форм, рапортов, как у нас. Ничто не соображено ни со способностями, ни с силами человеческими. У нас солдат для амуниции, а не амуниция для солдата.

Сабанеев — Киселеву, 1819 г.

Письма Сабанеева рисуют на первый взгляд образ человека, хотя и нетривиального, но вместе с тем ограниченного. Он как будто полностью погружен в служебные и личные, точнее, материальные дела. Рассуждения, выходящие за рамки этого круга, нечасты. Сабанеев может показаться, что называется, типичным или даже образцовым служакой. Отчасти так оно и было, но с той поправкой, что его отношение к службе тогда уже не считалось образцовым в высших сферах.

Сабанеев был личностью весьма необычной. Лучше всего это показывают характеристики, которые ему давали современники:

«Твердый, непреклонный характер, который выказывал» Сабанеев «во всех делах, кои он считал по своей совести, правыми» (Н.М. Лонгинов);

«Недавно был здесь бесценный Сабанеев, которого люблю я душевно за честные правила и благородные чувства», «хотелось бы взглянуть на почтенного и постоянного камрада Сабанеева. Я люблю ум и правила сего достойного человека» (А.П. Ермолов);

«Милый для нас с тобою (т.е. Закревским. — М.Д.), но ярый со всеми Сабанеев» (Д.В. Давыдов)¹.

А вот короткий диалог между Киселевым и Закревским об Иване Васильевиче, отношения с которым у Киселева поначалу были прохладными:

Киселев: «...так, говорят, сделался скуп, что превышает понятие. Судя по хуторам и толстой его жене — кажется, он

недолго в службе останется, хотя с столовыми расстаться не хочется».

Закревский: «Скажи, за что ты не любишь Сабанеева, он пречестный человек, но скуп всегда был. Признаюсь тебе, служба потеряет в нем усердного и хорошего генерала в военное время. Посмотри хорошенько в список и увидишь, что Сабанеевых у нас немного».

Киселев: «Я как служивого его не порочу... и дай Бог иметь подобных корпусных командиров. Но... поверь, что эгоист он отличный, никого не любящий и относящий все к себе. Грубость его всем известна...»

Закревский: «Что тебе до эгоизма Сабанеева, лишь бы служба от сего не терпела, но я в нем вижу хорошего корпусного командира, а наипаче в военное время, чему можешь быть со временем сам свидетель»².

Понадобилась эпидемия чумы, чтобы Киселев оценил Ивана Васильевича: «в его лета и в его чине проехать 300 верст верхом есть добродетель, которою не всякий похвалиться может» и которая перевешивает «порок» — упрямство, «запальчивость и часто со вредом для себя и для службы». Но «Сабанеев точно человек по службе отличный». Наконец, он пишет Закревскому: «При всех странностях его, правила его честны и непоколебимы; опытность имеет большую и просвещение, непонятное для человека, родившегося в Ярославле тому 56 лет»³.

А вот точка зрения врага Ивана Васильевича, без которой нам обойтись трудно: «Сабанеев был офицер суворовской службы и подражал ему во всем странном, но не гениальном; так же жесток, так же вспыльчив до сумасбродства, так же странен в обхождении — он перенял от него все, как перенимают обезьяны у людей. Его катехизис для солдат в глазах благомыслящих людей сделал его смешным и уродливым. Его презрение ко всему святому, ненависть к властям обнаруживались на каждом шагу. Его презрение к людям, в особенности к солдатам и офицерам, проявлялось в дерзких выражениях и в презрительном обхождении не только с офицерами, но и с генералами... Человек желчный, спазматический и невоздержанный — он выпивал ежедневно до 6 стаканов пунша и столько же вина и несколько рюмок водки». По виду, по содержанию — донос, притом злобный и явно охранительного характера: «презрение ко всему святому, ненависть к властям». Однако это — «донос в будущее», отрывок из воспоминаний В.Ф. Раевского, которого называют «первым декабристом». Сообщив эти сведения, а также и то, что Сабанеев женился на неразведенной женщине, Раевский как будто спохватывается: «Может быть, кто-нибудь сочтет слова или описания мои престранными. Но я пишу для будущего поколения, когда

Сабанеева давно уже нет. Впрочем, он имел много благородного, если действовал с сильными. Он знал военное дело, читал много, писал отлично хорошо; заботился не о декорациях, а о точных пользах солдат, не любил мелочей и сначала явно говорил против существовавшего порядка и устройства администрации и правления в России и властей. Так что до ареста моего он был сам в подозрении у правительства»⁴. По счастью, у «будущего поколения» есть и другие источники информации, помимо Раевского. Нет возможности разбирать все противоречия этой характеристики. Следует лишь заметить, что первая ее часть вполне совпадает с тем, что писал о Сабанееве Киселев, пока не узнал его короче, и что затем стал называть «странностями», а «положительный» фрагмент — с отзывами Ермолова, Закревского и др. Действительно, генералов, подобных Сабанееву, в России было немного. Выдвинулся он не только благодаря храбрости (этим удивить было трудно, хотя и возможно), но и высокому уровню культуры, образования, в том числе и военного. Не зря Барклай де Толли, чьей образованности отдавал должное даже Ермолов, взял его к себе начальником штаба. Характерны такие строки из письма Ермолова Закревскому: «Егерские маневры Сабанеева ожидаю с нетерпением и, извлеки из них, что в здешнем краю может быть полезно, буду держаться правил сего отличного и достойного офицера. До сего времени нет ничего постоянного о егерях, а мы здесь только ими и дышим»⁵. Так Ермолов мало о ком говорил.

Сабанеев имел четкие представления о том, как должно жить, о своих обязанностях и следовал им неуклонно, мало обращая внимания на последствия своего независимого поведения: «правила его честны и непоколебимы». Царь его не жаловал. Корпус Иван Васильевич получил не лучший: две дивизии (некомплектные) в самой глуши; правда, в случае войны с турками, знатоком которой был Сабанеев, он оказался бы в авангарде. Первые его впечатления по вступлении в должность очень похожи на ермоловские «кавказские». Картина ужасающая: голодающее войско, где секут до смерти за украденную курицу, где командиры обкрадывают подчиненных на всякой мелочи, где солдат мучают не только климат, но и командиры. Казармы «проклятые, мерзкие, сырые, нездоровые», «продовольствие было плохо и не могло быть иначе... Новый порядок продовольствия ничем не лучше старого», ротные командиры негодны, хорошие полковые командиры разоряются, потому что содержат полки за свой счет, а негодия наживают деревни «за счет солдатского брюха», постоянные злоупотребления на всех уровнях, казнокрадство, «тиранство» по отношению к солдатам. Военно-судная часть запущена до крайности. Аудиторов не хватает, в полках выбрать не из кого,

а те, что есть, никуда не годны «по совершенному незнанию своего дела и часто бывают такие судопроизводства, что ужасно. Дел судных тьма»⁶, и почти каждое приходится пересматривать дважды, а то и трижды, «потому что как решение, так и самое производство дела ни на что не похоже». В корпусе не хватает даже писарей.

Уже 24 октября 1816 г. Сабанеев отдал приказ по корпусу, в котором ставилась задача подготовиться к царскому смотру, который должен был состояться в 1817 г. Но основная часть приказа посвящена обязанностям должностных лиц и порядку службы, как его понимал Сабанеев. Этот документ очень интересен, ибо дает представление не только о взглядах последнего на армейскую жизнь, но и о том, как шла служба на самом деле. Сабанеев требует, в частности, чтобы ротные командиры еженедельно осматривали все квартиры роты, обращая внимание прежде всего на «чистоту и опрятность солдат, яко главнейший предмет к соблюдению их здоровья», затем на содержание амуниции, на точное исполнение отданных приказов и на поведение солдат. Младшие командиры не могут сами наказывать солдат, а должны докладывать об их проступках ротным. Последние наказывают «за неопрятность, пьянство, небрежливое содержание амуниции, самоуправство и непозволительное обхождение с хозяевами и прочие сему подобные поступки, почему и наказание должно быть весьма умеренное, клонящееся единственно к исправлению виновного». Но ротный командир не имеет права наказывать солдат за «воровство, самовольную отлучку, утрату амуниции, особенно же за неповиновение старшему младшего и командиру и самомалейшую умышленную грубость и прочие сему подобные преступления», а должен докладывать полковому командиру, который и принимает решение. И далее в приказе идут мысли, уже знакомые нам по докладной Воронцова Александру I: наказание, несоизмеренное вине, и несправедливо, и вредно для службы, оно портит «доброе солдата» и не исправляет «злодея». Сабанеев выражает надежду, что все его подчиненные хорошо понимают различие между «справедливою строгостию и безрассудною жестокостию». Он уверен, что никто из них не захочет по своей воле «быть тираном того почтенного сословия, на груди коего основаны безопасность престола и отечества, да и собственная польза» каждого из офицеров и генералов. «За вину наказание, за преступление казнь»; наказание — во власти командира, казнь — во власти закона, «следовательно, нет нужды ни в жестокости, ни в послаблении»⁷.

Созвучность мыслей Сабанеева и Воронцова не удивительна, и не только потому, что они давно и крепко дружили, а потому, что их взгляды на военную службу практически совпадали.

Как и Ермолов, Сабанеев был удручен состоянием офицерского корпуса. Это постоянный предмет его переживаний: «Офицеров почти нет. Если выбросить негодных, то пополнять будет нечем. Какой источник? Из корпусов (кадетских. — М.Д.) и от производства унтер-офицеров? Что за корпуса! Что за народ, идущий служить в армию унтер-офицерами? Из 1000 один порядочный», — пишет Сабанеев Киселеву в 1819 г. В другом письме он добавляет: «Кто управляет ротами? Такие офицеры, которые ничего, кроме ремесла взводного командира, не знают, да и то плохо; которые ни своих обязанностей, ни солдатских не ведают... Большая часть офицеров, бывших в прошедшую войну, или оставили службу, или поднялись выше достоинств своих. Чего же ожидать должно?»⁸

Сабанеев, однако, не ограничивался сетованиями. Уже с осени 1816 г. он начал разрабатывать специальный «курс военных сведений для унтер-офицеров», а через год пишет Воронцову, что составил проект «о учреждении при корпусах военных училищ и кадетских рот», которые ничего не будут стоить казне. Проект он представил царю. У Сабанеева не было помощников, не было типографии. Но 24 декабря 1817 г. он пишет Воронцову, что на основании этого проекта открыл военную школу, причем курс наук составил сам. «Охотно учатся молодые люди, и охотно отдают служащие у меня в корпусе бедные люди. Буду принимать и посторонних, но, разумеется, с заплакою в пользу неимущих воспитанников»⁹.

Школа стала одним из любимых детищ Сабанеева, хотя, конечно, она была далека от того, что бы он хотел видеть. Особый упор делался на практических занятиях, дополнявших теоретический курс, который включал математику, артиллерийское дело, фортификацию, инженерное дело, съемку местности и другие военные дисциплины, а также предметы общеобразовательного курса. Цель училища состояла в подготовке молодых людей к военной службе. Контингент кадетов определялся так: «Дети служащих при корпусе чиновников, лишенные по бедности родителей своих, возможности получить воспитание, будут иметь право (преимущественное перед всеми прочими) пользоваться сим способом военного воспитания без всякой платы; таковым же правом пользуются вообще все сироты, живущие в расположении корпуса»¹⁰. Дворяне, имевшие состояние, должны были платить по 250 рублей в пользу тех, кто его не имел. При учреждении школы генералы и офицеры корпуса сделали большой взнос по подписке. Школа получила название «кадетской роты». Уже в декабре 1818 г. в ней обучалось 62 человека. «Не поверишь, — писал Сабанеев Воронцову, — сколько открывается желающих отдавать ко мне детей: но беда, что ни способов в помещении,

ни присмотра за малолетними быть не может. Какая бы [была] польза, естли бы правительство вникнуло в пользу известного тебе прожекта моего!» Второй год как учрежден Комитет военных училищ в Петербурге, но «где же сии училища», — спрашивает Сабанеев. «Кадетские корпуса нельзя назвать таковыми, а военно-сиротские отделения еще менее. В первых учат вертеть ружьем, поворачиваться и маршировать, а в последних (к удивлению) и ружей нет».

Весьма характерно при этом, что одновременно Сабанеев резко критикует и «Одесскую Лицею» аббата Николая, ставшую модным учебным заведением после того, как туда поместил своих детей князь П.М. Волконский. Сабанеев считает, что нельзя вверять «воспитание знатнейшего юношества французскому попу», хотя бы он был честным и нравственным человеком, потому что он не знает «пользы нашего отечества» и ему нет нужды «вселять... любовь к нему» в юношей-воспитанников. Ну, положим, «будут они чувствовать красоты Гомера, Виргилия, Лафонтена и пр.», какая от этого польза России? «Они будут ученые иностранцы»¹¹, — убежден Сабанеев. Не говоря уже о том, что к военной службе их в лице не подготовят, а латынь тут не помощница.

Мнение Сабанеева интересно. Конечно, ясно, что он раздражен, что не имеет тех средств, которые есть на то, чтобы учить латыни. Любопытнее всего не то, что сам Сабанеев вполне «чувствовал красоты» классики, а то, что пишет он человеку, который получил воспитание за границей, и Сабанеев сам мог судить, насколько это сказалось на его патриотизме. Мог ли он сказать о Воронцове «ученый иностранец»? Конечно, нет. Но в этих его мыслях сказывается весьма распространенное тогда мнение, которое мы встречаем, например, и у Карамзина, обвинявшего дворян, живших за границей, чуть ли не в отсутствии патриотизма. Правда, позднее Сабанеев, видимо, изменил свое мнение.

Сабанеев постоянно заботился о том, чтобы повысить уровень боевой подготовки войск. Он написал специальное «наставление для легкой пехоты», выступил с проектом вооружения части офицеров и унтер-офицеров в ротах дальнобойными ружьями типа штуцеров. Но начальство гораздо выше ставило строевую, «фронттовую» подготовку. И это приводило Сабанеева в полном смысле слова в неистовство. В феврале 1821 г. он писал Закревскому: «Не могу равнодушно видеть уныние и изнурение войск русских, измученных бесконечным и беспрестанным ученьем, примеркою и переделкою амуниции и проч. Все обратились единственно к сим предметам, забыв священнейшие обязанности свои. Все готовятся к смотру и делают только то, что при смотре Государь видеть может. Ученье день и ночь, даже со свечами.

Солдаты не имеют ни минуты отдохновения. От того побег, от того смертность, от того никто не выслуживает указанных лет»¹².

Сабанеев сообщает, что в его корпусе за пять лет, с 1816 по 1821 г., выбыло только «неспособных» 4115 человек, причем из них выслужило срок 53 человека, т.е. 1 из 80 солдат. Умерли за то же время 3600 человек и столько же солдат бежало (сравни: корпус Воронцова во Франции!). То есть за пять лет выбыло более четверти и, «конечно, близко $\frac{1}{3}$ нижних чинов, считая комплектное число их в корпусе 43 106, которого никогда не было». Цифра кажется неправдоподобной. Увы, это еще не рекорд для русского XIX в. Даже согласно официальному отчету военного министра Николая I, Чернышева, в царствование «Незабвенного» умер *каждый второй* русский солдат. Не погиб на поле боя, а умер на службе!

Сабанеев не мог с этим смириться. «Что делаю я для уменьшения сего столь ясного для Государя и отечества вреда? Писал, говорил, писать и говорить буду: первая мысль, будто бы Государь требует доведения войск по фронту с пожертвованием их здоровья и украшения полков на счет геройского их желудка, — есть истинное оскорбление Величества; 2) сперва сберечь, потом выучить; 3) внушить солдату обязанности его; 4) за грубости, слушания не наказывать без суда и отнюдь таких преступлений не прощать и пр. Вот мои правила... Не я буду искать благоволения Царского на пути Шварца (командир Семеновского полка в 1820 г. — М.Д.) и других ему подобных. Если служба моя Государю не угодна — воля Его Величества, я готов быть жертвою у судии моего»¹³.

Трагедия — а для Сабанеева это трагедия — в том, что он, генерал, у которого в подчинении 40 тыс. человек, не мог добиться уничтожения столь ненавидимого им «тиранства». Не мог, несмотря ни на свои обширные права в отношении подчиненных, ни на горячий нрав. И сам понимал это. «Какого ожидать успеха там, где сам дивизионный командир бьет солдата по зубам? Желтухин (начальник 17-й дивизии. — М.Д.) совершенный антипод моих правил... на многих полковых командиров надежда плоха», — писал он Киселеву¹⁴. 40 тыс. солдат были разбросаны на большой территории так, что расстояние между ротами одного полка нередко достигало 200 верст. Можно ли было в таких условиях реально контролировать действия начальства? Не только Желтухин, но и менее значительные командиры были достаточно независимы от корпусного начальника. Даже такой убежденный противник применения насилия по отношению к солдатам, как М.Ф. Орлов, по-настоящему ничего не смог сделать с подчиненными ему офицерами-тиранами (кстати, в литературе дело представляется так, будто Орлов чуть ли не первый и единствен-

ный в русской армии публично клеймил офицеров-садивов, что явно неправильно). Беспорядки в Камчатском полку — лучшее тому свидетельство.

И это совершенно естественно для армии, где понятие законности если и не отсутствовало в принципе, то по крайней мере игнорировалось, где жестокость начальников вытекала из системы ценностей и приоритетов, насаждавшихся «сверху». Сабанеев писал Киселеву: «Тиранство есть необходимое следствие фронтального педантизма, а уныние войск, от того происходящее, предвестник больших несчастий»¹⁵. Командиры не могли не обкрадывать солдат, ибо нужно было готовиться к смотрам, а для этого требовались тысячи рублей, которых у них не было, ибо денег, отпускаемых на «постройку» амуниции, не хватало. Они не могли не мучить солдат шагистикой, ибо царев смотр был началом и концом их надежд на лучшее будущее, а для смотра требовалось одно — «учебный шаг, хорошая стойка, быстрый взор, скобка против рта (при подъеме ружья «на караул». — М.Д.), параллельность шеренг, неподвижность плеч»¹⁶. Командиры не могли не тиранить солдат, ибо искренне не понимали, как можно их чему-то научить без мордобоя. Они не видели в солдате человека, ибо не видели людей в себе — необразованных, нищих, живущих в глухомани, где пьянство было единственным занятием.

Не то что корпусной командир — сам царь не смог бы пробить эту толщу. Нужно было менять Систему. А на это Сабанеев не был согласен.

КИСЕЛЕВ В ТУЛЬЧИНЕ

Скажу Клейнмихелю, что ты превзошел его по фронтальной службе и ищешь место, им занимаемое. Вообрази, сколько проклятий!

Хорошо ли всех надул по правилам, простоте твоей предоставленным?

Умерь нрав и всех обманывай молодецки...

Закревский — Киселеву, 1819 г.

В 1819 г. П.Д. Киселев стал начальником штаба 2-й армии, штаб-квартира которой со времен Суворова располагалась в Тульчине. Именно отсюда начался решающий этап восхождения Киселева к вершинам бюрократии. До этого он был одним из нескольких подающих надежды флигель-адъютантов императора,

выполнявших иногда весьма ответственные поручения. Теперь же пост был другого качества.

В Киселеве среди прочего удивляет то, что он был в фаворе у обоих императоров — Александра и Николая Павловичей, людей с достаточно несхожими характерами, уровнем культуры и манерой поведения, и притом сумел не потерять лица, сохранить независимость и не превратиться в обычного придворного, как это произошло с большинством его «коллег» по флигель-адъютантству. Впрочем, у Пушкина на этот счет было другое мнение, неясно, правда, насколько серьезное.

Декабрист Н.В. Басаргин, адъютант Киселева, пишет о Павле Дмитриевиче так: «Начальник Главного штаба, генерал Киселев, был личностью весьма замечательною. Не имея ученого образования, он был чрезвычайно умен, ловок, деятелен, очень приятен в обществе и владел даром слова. У него была большая способность привязывать к себе людей и особенно подчиненных. По службе был взыскателен, но очень вежлив в обращении и вообще мыслил и действовал с каким-то рыцарским благородством. Со старшими вел себя скорее гордо, нежели униженно, а с младшими ласково и снисходительно... Не раз я сам от него слышал, как трудно ему было сделаться из светского полотера (как он выражался) деловым человеком и сколько бессонных ночей он должен был проводить, будучи уже флигель-адъютантом, чтобы несколько образовать себя и приготовиться быть на что-нибудь годным»¹. Басаргин специально отмечает независимость Киселева в отношениях с Аракчеевым, особенно заметную на фоне поведения членов свиты («смешно было даже смотреть, с каким подобострастием царедворцы обходились с Аракчеевым»), и с самим Александром I («Киселев не унижался и вел себя с достоинством, не теряя этим его расположения»). Словом, Павел Дмитриевич относился к лучшим образцам «особ приближенных», что и подтвердилось в царствование Николая I, когда он стоически выносил дружную ненависть сановного Петербурга (за стремление улучшить участь крестьянства его прозвали «Пугачевым»).

В 1819 г. назначение Киселева было воспринято в армии с раздраженным недоумением. Командующий армией граф Витгенштейн решил, что к нему приставили шпиона, что он лишился доверенности царя, и потребовал отставки (обычный ход для того времени), но милостивое письмо Александра («поцелуй», по тогдашней терминологии) успокоило его. Далеко не сразу наладились, как уже говорилось, отношения Киселева с Сабаневым. Последний во время инспекторской поездки Киселева во 2-ю армию в 1817 г. писал Закревскому, что «от таковых инспекторов... вред для службы величайший», ибо царская доверенность к полковнику Киселеву подрывает авторитет гене-

рал-лейтенанта, командира корпуса, в глазах его подчиненных. «Я... знаю свое дело во всех отношениях не только лучше Киселева (чем и гордиться не хочу), но и многих других. Кто не поймет устава? Тот, кто русской грамоты не знает»². В 1819 г. Сабанеев также был насторожен или, скорее, раздражен: «Киселев на сей раз или, лучше сказать, до сих пор ведет себя прекрасно во всех отношениях. Человек молодой, не без способностей, поощрен Государем как нельзя более, получил опытность и будет полезен. Кому же и служить, как не таким. С полною Царскою доверенностию, известною всем и каждому, все сделать можно. Например, требования его исполняются гораздо скорее и без всякого прекословия... потому что боятся, зная доступ его к престолу. Таким чиновникам так и подобает. Мы, грешные, иное дело — так и быть должно, потому что начальников штаба только двое, а нас как собак»³. В этих словах, конечно, чувствуется обида на то, что Сабанеев должен подчиняться молодому человеку, которому было от роду два года, когда он, Сабанеев, получил боевое крещение под Мачином.

Поражен был назначением Киселева и Ермолов, считавший, что это место для человека уровня Воронцова, но никак не Киселева, который не имел опыта самостоятельного командования и видел войну в адъютантских чинах.

И тем не менее Александр I не ошибся в выборе. Киселев оказался на своем месте. За исполнение новых обязанностей он взялся с максимальным усердием: «Я устроил себе комнату, из которой почти не выхожу; с бумагами провожу часов десять, остальное время с книгами; весельем хвастать не могу, ибо и жизнь моя, как письма, имеет сухость тяжкую. Все один, все без раздела и душа в унынии. Я не ропщу...»⁴ Витгенштейн уже мало занимался делами, поэтому Киселев нередко фактически управлял (не командовал!) 2-й армией, как, впрочем, и энергичный начальник штаба 1-й армии Дибич при Сакене. Закревский, как всегда, давал мудрые советы: «Всего разом поправить нельзя, но ты начни с запущенных частей и понемножку все приведешь в порядок. Усердных поощрай, а ленивых брани порядочно и никакой вины не спускай»⁵.

О состоянии 2-й армии мы уже имеем представление; впечатления Киселева мало отличались от сабанеевских. Казармы, в которых нельзя жить, скверные госпитали, плохое питание, побеги солдат, упадок дисциплины, нехватка толковых офицеров, забытая начальством судная часть. И если Ермолов писал Закревскому: «Вы люди чудесные и хотите дать законы самой природе, и от 70-летнего Дельпоццо требуете таких способностей, как от человека со всею свежестию рассудка и с полною силою души», — то и Киселев был не в лучшем положении: «Граф

(Витгенштейн. — *М.Д.*) пишет и я тебе повторю касательно генералитета нашего. Что за несчастная богадельня сделалась из 2-й армии. Имеретинский, Массаловы, Шевандины и толпы тому подобных наполняют список. Перестаньте давать нам сих калек, годных к истреблению, и если будет производство, то оставьте хотя просимых... Касательно до назначения будущих полковых командиров, то я здесь отличных действительно не знаю; баталионами ладят, но полк — дело другое⁶.

Киселев просил прислать ему «французские» приказы Воронцова: «Многие из его постановлений должно признать полезными, в особенности запрещение жестоких телесных наказаний, которые должно бы распространить на всю армию»⁷. Он хотел приноровить их ко 2-й армии, ибо «варварство искоренить должно». Однако ему одновременно требовался и приказ Аракчеева «о дисциплине», поскольку «тиранство» странным образом уживалось с неприличной, по его мнению, разболтанностью⁸.

Киселев прекрасно понимал, почему так трудно было искоренить жестокость офицеров по отношению к солдатам: «Исправление морального состояния армии подлежит времени и постановлениям, которые не дозволяют к тому деятельно приступить. По сему предмету все войска российские в одинаковом положении и, по наречию Сабанеева, палочки наши долго таковыми останутся»⁹. Тем не менее он по мере возможностей стал исправлять положение. Именно по мере возможностей, ибо в его власти было далеко не все.

Осенью 1819 г. Павел Дмитриевич был отвлечен от непосредственных своих обязанностей эпидемией чумы, проникшей в Бессарабию из Дунайских княжеств. Тогда-то он впервые оценил по достоинству Сабанеева, который оказался единственным начальником, на которого можно было положиться, — остальные оказались неспособными или трусили. Тогда же Киселев познакомился с тяжелой жизнью солдат, служивших в Бессарабии.

Уже в 1820 г. появились первые результаты деятельности Киселева. Начал улучшаться быт солдат, Киселев и его сотрудники разрабатывали различные наставления по стрельбе (ружья так плохи, писал он Закревскому, что, пока их не улучшат, «уменьше стрелять останется на бумаге»), по артиллерийскому делу и т.д.

Особую озабоченность вызывал аудиториат — военно-судная часть. Закревский хвалил Киселева за то, что он обратил на нее внимание: «Она у нас в большом упадке от нерядаения начальников, и несчастные томятся под судом долгое время, тогда как в это же время, по наказании, могли исправить в нижних чинах несколько свое поведение»¹⁰. Киселев просил «12 мальчиков для аудиториатской части», так как «аудиторы столь плохи, что надо взять меры к исправлению важного сего недостатка». Но

глава российского военно-юридического ведомства этих просьб выполнить не смог: «мальчиков» забрал Аракчеев для поселений, а аудитора он, как обычно, посоветовал выбрать на месте¹¹.

В феврале 1821 г. Киселев писал: «Свод законов отлично полезное дело, тобою сотворенное; теперь введите правосудие, с духом времени более согласное, и отклоните жестокость и произвольность, ни с каким временем несогласное. Вот монумент, который ты должен себе воздвигнуть и который удовлетворить должен честолюбие твое». Ответ Закревского категоричен: «Нет, любезный друг, не беру на себя вести правосудие, с духом времени приличное, и отвратить жестокость и произвольность. Надо время и люди, дабы заняться законом, и я на себя сего не возьму, ибо законы не есть циркуляры, которые рассылаются по военному ведомству. Впрочем, помышляя об отпуске, я не решусь заняться серьезным делом, каковы законы»¹². Дело, однако, заключалось не в том, что Закревский был болен и собирался на воды.

Через год Киселев со всей возможной деликатностью вновь обратился к этой теме: «Хвала тебе, если займешься рассмотрением военной законодательной части. Составленный у тебя свод законов... дает способ поверять жалких аудиторов наших; но нужно рассмотреть законы, исправить обветшалые, уничтожить противоречие и потом уже составить свод или кодекс... Сверх того, порядок судопроизводства должен быть другой: у нас кто под судом, тот и виноват. Судьи, из фронта взятые, к делу сему не способны — законов не знают и почти всегда подписывают определения, не зная даже смысл оного. Вот отчего всякий страшится суда и предпочитает произвольно наказать обвиненного, и вот отчего возрождается... недоверие к начальству»¹³. Закревский соглашался с Киселевым, его занимали те же проблемы, но основная причина, по которой не проводилась реформа судопроизводства, была проста: «На это нужно много воли других и снисходительного чтения вышних»¹⁴. Как можно видеть, позиции Киселева и Воронцова по этой проблеме весьма схожи. Да и Закревский, оказывается, совсем не такой противник реформы суда, как может показаться из его писем во Францию.

Следующее важное направление деятельности Киселева — образование. Сразу же по приезде в Тульчин он написал Закревскому, что в последнем разговоре с царем не услышал ясного ответа на вопрос, открывать ли ланкастерские школы во 2-й армии. Закревский посоветовал обратиться с партикулярным письмом к князю Волконскому, что Киселев и сделал. Князь отвечал, что новые школы — в принципе дело нужное, но покуда с этим необходимо повременить, так как министр просвещения князь Голицын потребовал у него по высочайшему повелению

сведения о всех таких школах в армии, но с какой целью ему нужны эти сведения, пока неясно¹⁵.

А.П. Заблоцкий-Десятовский приписывает Киселеву авторство проекта учреждения училищ для бедных детей офицеров и чиновников при пехотных корпусах, говоря, что «по совещании с генералом Сабанеевым, мысли которого по этому предмету были сходны с его взглядами, Киселев составил проект о помянутых учебных заведениях», который затем через Волконского передал царю¹⁶. Едва ли дело обстояло так. Мы видели, что у Сабанеева эта идея возникла гораздо раньше, и, более того, он реализовал ее до приезда Киселева. Так что роль последнего состояла, надо полагать, в поддержке проекта и передаче его царю. Это, конечно, не исключает того, что Киселев мог сделать какие-то конструктивные дополнения к проекту Сабанеева. Было ли открыто корпусное училище при 7-м корпусе, точно не известно, хотя в пользу этого говорят некоторые косвенные данные.

Как и остальные герои этого рассказа, Киселев засыпал Закревского разнообразными просьбами, предложениями, проектами (любопытная деталь: у Киселева очень быстро сложилась психология трудяги-службиста, в то время как Закревский перешел в разряд «вельмож»). Закревский, как всегда, рад помочь, если это возможно. Но возможно было далеко не все. Так, не получили поддержки идеи Киселева относительно улучшения квартирмейстерской службы: Волконский руководил ею лично, никого туда не допускал и ничего слушать не хотел. Сообщая об этом, Закревский делает обычное свое резюме: «Вообще же нерешительность по всему государству удивительная и, конечно, более делает вреда, нежели пользы всякого рода службе; но помочь сему мы с тобой не в состоянии. Неприятности по службе всегда были и должны быть, а наипаче с такими людьми, которые пламенное желание имеют быть полезными службе; потом все охладят, и человек должен привыкать, хотя с трудом, к медленностям и прочее и прочее»¹⁷.

Взгляд Закревского выверенный, с оттенком меланхолического фатализма. Исправить ситуацию в принципе не в их власти. Единственное, что они могут, — это честно служить, честно делать свое дело, получать положенные «неприятности по службе» и все равно тащить лямку, пока силы позволяют, ибо иначе не умеют.

У Киселева позиция другая. Он еще не привык к своему головокружительному взлету — шутка ли, начальников штаба армии всего двое, они у всей страны на виду! С ним доверительно, как с равным, как с другом, беседует царь. Поэтому Киселев довольно долго пребывал в том состоянии, когда эйфория новизны не то чтобы исчезает, но требует совмещения с возникшей уже привычкой к себе самой. И хотя социальное «зрение» у него постепенно фокусируется, заботы и обязанности обретают

истинный масштаб, и словно бы начинается уже обычная жизнь, но что-то мешает считать ее обычной.

* * *

Что дает этот краткий обзор служебной деятельности наших героев? Нетрудно видеть, что они в общем заняты одними и теми же проблемами и пытаются решить их достаточно похожими способами. В центре их внимания как командиров — забота о подчиненных в широком смысле: улучшение быта, постройка казарм, лазаретов, облегчение положения солдат или, что то же самое, борьба с аракчеевщиной, стремление покончить с воровством казенного и солдатского имущества. Наконец, некоторые из них стремятся к просвещению подчиненных — и солдат, и офицеров.

Нельзя не заметить, что наши герои настроены достаточно критично по отношению к существующим порядкам, как и полагается людям, привыкшим мыслить самостоятельно. Однако о характере этого недовольства мы пока не можем говорить. Обычное ли это раздражение умных и дельных людей, вынужденных бороться с тупой неповоротливостью имперской бюрократии, т.е. чувство весьма распространенное, или же оно имеет принципиально другое значение, иные корни? Выяснить это должно дальнейшее исследование.

И еще. При всем том общем, что объединяет наших героев как «отцов-командиров», нельзя не заметить и определенных различий между ними. Так, у Ермолова стремление сделать законность основой дисциплинарной практики в русской армии не проявлялось столь отчетливо, как у Воронцова, Киселева и Сабанеева. Их внимание было обращено не только на удовлетворение непосредственных нужд подчиненных, прежде всего солдат, но и на солдатские школы, на реформу военного судопроизводства. Ермолова же эти «сюжеты» беспокоили много меньше. Случайно ли это? В дальнейшем мы попробуем ответить на этот вопрос, а пока продолжим анализ деятельности Ермолова на Кавказе, составившей без преувеличения эпоху в истории этого региона.

ЕРМОЛОВ В ПЕРСИИ

В апреле 1817 г. Ермолов отправился в Персию. Цель посольства, как уже говорилось, состояла в установлении окончательной границы между Россией и Персией по Гюлистанскому миру 1813 г. Персия настаивала на уступке некоторых пограничных земель, и царь, всеми силами стремившийся сохранить

мир, в общем был согласен на это. Во всяком случае персидский посол в Петербурге был уведомлен о том, что Ермолову дан приказ «во всем сколько возможно соответствовать желаниям шаха и сохранить дружелюбное его расположение». Эта туманная формулировка равно была пригодна и для того, чтобы санкционировать передачу спорных территорий, и для того, чтобы не возвращать их. Ермолов должен был решить это на месте сам, как и то, поедет ли он к шаху лично или отправит кого-нибудь другого. Алексей Петрович, во-первых, категорически отказался уступить хотя бы аршин завоеванных земель, во-вторых, отправился в Персию лично, не столько из честолюбивого, сколько из самолюбивого любопытства.

Свою задачу он сформулировал так: «Главнейший предмет дел моих был тот, чтобы удержать за нами области присоединенные, которых сильно домогалась Персия. Отказ сам по себе уже неприятен, а нам надобно было не только сохранить, но и утвердить связи дружества». С этой задачей Ермолов справился блестяще, о чем в не менее блестящей форме поведал в «Записке о посольстве в Персию».

Еще в Петербурге, сообщая Воронцову, что назначение послом и самому ему «в голову не вмещается», Ермолов говорил, что это «настоящая фарса или бы послали человека к сему роду дел приобыкшего»¹. Однако после возвращения он называл свое посольство «фарсой» уже в другом смысле. Это действительно был спектакль, точнее, как бы дипломатический водевиль, написанный для бенефиса Ермолова, причем он был не только автором, но и режиссером, и «примадонной», с правом импровизации по ходу действия.

Вот как он описывал Закревскому свой дипломатический стиль: «Происходило так, что я объявил министрам персидским, что если малейшую увижу холодность или намерение прервать дружбу, то я для достоинства России не потерплю, чтобы они первые объявили войну, тотчас потребую [границ] по Аракс и назначу день, когда приду в Тавриз... Угрюмая рожа моя всегда хорошо изображала чувства мои, и когда говорил я о войне, то она принимала на себя выражение чувств человека, готового хватить зубами за горло. К несчастью их заметил я, что они того не любят, и тогда всякий раз, когда недоставало мне убедительных доказательств, то я действовал зверскою рожею, огромною моею фигурою, которая производила ужасное действие, и широким горлом, так что они убеждались, что не может человек так сильно кричать, не имея справедливых и основательных причин... Шах был приурочен видеть во мне ужаснейшего человека и самого злонамеренного. Как удивился шах, когда с первого шагу начал я отпускать такую лесть, что он не слыхивал в жизни, и все

приворные льстецы остались назади. Чем более я льстил и чем глупее, тем более нравилось, и я снискивал его доверенность... Не было разговора обо мне, чтобы он не распространился в чрезвычайных на счет мой похвалах, поручая вельможам своим, чтобы они оказывали мне возможное внимание... Он даже один раз в присутствии их сказал, что как я имел счастье быть удостоен доверенности императора, то и он уполномочивает меня с своей стороны все то делать, что может служить к утверждению согласия... Можешь представить, что значат подобные слова в устах деспота, произнесенные рабам! После сего вельжогами уважаем был, как будто сам из первейших членов государства. Иногда я поступал с ними, как с невольниками, и если бы нужно было для пользы дел моих потребовать чей-нибудь нос и уши, то едва ли бы сделали в том затруднение»².

Дипломатические методы Ермолова (трудно решить, какое из двух первых слов нужно поставить в кавычки) вполне характеризуют и категорический отказ исполнить принятый при персидском дворе церемониал, который он считал унижительным для русского посла, и отказ признать наследником третьего сына шаха Аббаса-Мирзу, несмотря на то, что инструкция МИД предписывала сделать это (Ермолов поддерживал претензии старшего сына шаха, считая, что для России полезны распри в шахской семье). Наконец, он велел высечь плетью полковника гвардии Аббаса-Мирзы, француза по национальности, посмевшего ударить саблей плашмя посольского музыканта. Но при этом, когда было необходимо, Ермолов «глупо» льстил, и не только шаху, но и отдельным вельможам. Вообще же ермоловское посольство больше похоже на инспекцию какой-нибудь уголовной или казенной палаты в Тифлисе или Кутаисе, чем на дипломатию нового времени. И это был очень точный расчет, а не прихоть «пламенного характера», так часто определявшего его поступки.

Исходную ситуацию Ермолов описывает так: «Отправляюсь в такую землю, о которой ни малейшего понятия не имею, получаю инструкцию, против которой должен поступать с самого первого шагу, ибо она основана на том же самом незнании о земле. В ней *поручено мне поступать по общепринятой ныне филантропической системе, которая совсем здесь не приличествует, и всякая мера кроткая и снисходительная принимается за слабость и робость* (курсив мой. — М.Д.). Еду ко двору, известному нестерпимой гордостью и надменностью, и что везу с собою? Отказ на возвращение областей, которое шах ожидает четыре года... Ко всему шах и министерство уверены, что посольство не может быть отправлено с другим намерением, как искать высокого его дружества и с покорностью поднести требуемые провинции». В выделенных словах — ключ к

пониманию политики Ермолова на Востоке вообще, политики, споры вокруг которой не стихают уже полтора века.

Характерно, что самым серьезным противником Ермолова был официальный Петербург, прежде всего Нессельроде, требовавший, чтобы он управлял Кавказом и строил дипломатические отношения с Персией на основании «правил благочестия и библейских истин» (по определению Ермолова). Сам же Алексей Петрович полагал, что дипломатия на Востоке требует иных методов, нежели в Европе. Именно поэтому он действовал не по инструкции и сразу же добился беспорочного успеха.

В «Записке о посольстве» Ермолов не мотивирует свое не слишком обычное для дипломата поведение; как бы подразумевается, что он «пришел, увидел, победил». Посольство изображается как активное столкновение двух образов, двух моделей жизни — русской и персидской, в основе которых лежат различные государственные системы. Различие государственного строя обеих стран порождает различие обычаев и нравов, ибо Ермолов твердо убежден в том, что общественная система жестко детерминирует нравы людей. Этот тезис, один из главных в социологии французского Просвещения, был, как известно, впервые выдвинут Монтескье в его «Персидских письмах». Ассоциация с этим произведением напрашивается буквально с первых же страниц ермоловской «Записки».

И в «Записке», и в «Персидских письмах» стержневым идейным конфликтом является сопоставление двух систем — европейской монархии и восточной деспотии. Согласно Монтескье, у каждой из трех выделяемых им форм правления есть свой организующий принцип. Так, принцип деспотии — произвол, тирания владыки, не признающего другого закона, кроме собственных прихотей. Все подданные поэтому являются рабами деспота. Вельможи и крестьяне уравниваются страхом и полной незащищенностью перед этим произволом. Страх пронизывает все сферы жизни деспотии, которая только им и держится. С произволом деспота неразрывно связано бесправие подданных, личность и собственность которых не ограждаются законами. Поскольку отсутствует дворянство, то нет и понятия о чести, о славе, как личной, так и государственной. В деспотии все, включая самого владыку, не могут быть уверены в будущем, ибо не только подданные трепещут перед тираном, но и он сам может пасть жертвой ответного произвола с их стороны.

Организующий принцип монархии — честь, под которой понимается, как уже говорилось, «стремление к почестям при сохранении независимости» от Власти. Носителем этого принципа является дворянство. Если нет дворян, то нет и монарха, а есть деспот. Честь — побудительный стимул, ведущий дворянство по

дороге служения своей стране и вообще определяющий его жизнедеятельность. В монархии отсутствует неограниченная власть, которой обладает деспот, ибо в отличие от деспотии в монархии существуют законы, охраняющие достоинство и собственность подданных. Различие между монархом и деспотом состоит, используя известное определение, в том, что монарх может по своей воле изменить законы, но пока он этого не сделал, он обязан подчиняться существующим.

«Записка о посольстве» иногда напоминает своего рода лабораторную работу на тему «Персия как образец восточной деспотии по Монтескье». Отдельные «технические параметры» деспотии освещены на ее страницах с разной степенью подробности, но очень мало главных положений и даже ситуаций не имеют аналогий в «Персидских письмах».

В самом начале путешествия Ермолов познакомился с нахичеванским ханом, которого когда-то ослепил жестокий Ага-Мегмед-хан, тот самый, который в 1795 г. превратил Тифлис в руины. Впечатления Ермолова от этой встречи как бы определяют суть идейного конфликта «Записки»: «Хан... человек отлично вежливый и весьма веселый, тронут был особенным уважением, оказанным мною к несчастному его состоянию... Вырвалась жалоба на жестокость тирана. Не всегда состояние рабства заглушает чувство оскорбления, и, если строги судьбы определения, благодетельная природа дает в отраду многим надежду отпущения. Но сей несчастный, уже в летах, клонящихся к старости, лишенный зрения, двадцать лет отлученный от приверженных к нему подвластных, не может и сего иметь утешения... Какие новые чувства испытывает при подобной встрече человек, живущий под кротким правлением! Здесь между врагами свободы надобно научиться боготворить ее. Здесь с ужасом видишь предержавших власть, не познающих пределов оной в отношении к подданным, с сожалением смотришь на подданных, не чувствующих достоинства человека. Благословляю стократ участь любезного отечества, и ничто не изгладит в сердце моем презрения, которое почувствовал я к персидскому правительству. Странно смотрели на мое соболезнование провожавшие меня персияне: рабы сии из поддобострастия готовы почитать глаза излишеством»³.

Ермолов, во-первых, «россиянин», т.е. представитель «первого в мире народа», и, во-вторых, представитель страны с «кротким правлением» и поэтому не может исповедовать «филантропическую систему» в отношении «презренного» правительства.

Персы предстают в «Записке» как совершенно обезличенная масса, лишь иногда, как бы по недоразумению, некоторые из них имеют имена. Ермоловскую типологию персов можно назвать

нерасчлененной в том смысле, что люди, которых он описывает, обладают определенным, раз и навсегда заданным набором качеств. Ермолов отождествляет отдельную личность и персидский национальный характер в целом; личность — не компонент его, не часть, а такое же полноправное и представительное целое. Каждый перс по сути равен персидскому национальному характеру, он лишен индивидуальности. Характеристики персов даются в терминах, идентичных текстуально или по смыслу. И здесь сказывается не столько присущее иностранцу стремление обобщить увиденное, сколько прямая установка, вытекающая из мысли Монтескье о том, что деспотия нивелирует человеческую индивидуальность, препятствует раскрытию способностей людей, ибо раз нет понятия о чести, то нет и стимула к состязанию талантов. Ермолов прекрасно справляется с задачей «монотонного» изображения персов. В «Записке» немного индивидуальных характеристик, но это отчасти компенсируется социальной значимостью персонажей (шах, наследник престола, три первых министра, сардар Эривани) и тем, что их портреты представляют, по существу, описание различных градаций одного и того же явления. Самая безобидная в сравнении с другими характеристика великого визиря Персии Садр-Азама такова: «В злодейское правление Аги-Мегмет-хана неоднократно подвергался он казни и в школе его изучился видеть и делать беззаконие равнодушно. Он сам был изобличен в намерении отравить одного министра, коего завидовал он дарованиям и доверенности, приобретенной им у шаха... богат чрезвычайно, скуп еще более и всеми средствами приумножает свое имущество, потеряв сыновей, в отчаянии, что не имеет, кому передать в наследство благородные свойства свои». Визиря подкупали, как, впрочем, и остальных министров и сановников, и французы, и англичане. Ермолов по этому поводу замечает: «Старик в 80 лет честь свою боялся унести в гроб и пред смертью в ней сторговался»⁴.

«Среднестатистический» персиянин в восприятии Ермолова обязательно наделен непомерной гордостью без малейших на то оснований, высокомерием, хитростью, алчностью, жестокостью и сладострастием, и притом всегда остается рабом. Ермолов не находит у персов, с которыми встречается, ни одного положительного качества. Он напоминает фараона с древнеегипетской стелы, окруженного толпами рабов и пленных: все персонажи едва достают ему до колена. «Вельможи сии по множеству жен имеют толпы детей, которые по большей части наследуют их добродетели, Персия долгое время может гордиться постоянством своих нравов»⁵ — таково его мнение об элите этой страны. Выше уже приводились уничижительные характеристики персидских придворных, кото-

рые, впрочем, в такой же степени относятся и к их русским коллегам.

А вот собственно о народе Персии Ермолов говорит совсем с другой интонацией, хотя и вспоминает о нем значительно реже, чем о его властелинах. Ермолов высоко оценивает восприимчивость, прекрасную физическую закалку, выносливость, пылкий характер персов. Бедственное состояние, в котором находится простой народ, не может не вызывать у него сочувствия: «Из замка видны четыре небольшие деревни, бедные, потому что у самой большой дороги. Здесь довольно сей причины, чтобы поселянам быть в совершенной нищете, ибо из посылаемых от правительства чиновников редко который не снабжается законным правом требовать от них всего безденежно. Так с многочисленную свитою проезжающий вельможа истребляет в один день запасы нескольких месяцев. Проходят военные, состояние их заставляет завидовать состоянию беднейшего из поселян, и его имуществом распоряжаются как собственностью»⁶.

В «Записке» есть и другие места, делающие Ермолова чуть-чуть похожим на Радищева, совершающего путешествие из Тифлиса в Тавриз и далее, причем, как всегда бывает у Алексея Петровича, ирония незаметно переходит в самый настоящий пафос (сразу понятно, почему именно ему император поручил писать манифест о вступлении русской армии в Париж в 1814 г.). Так, описывая ставший в Персии нормой жизни грабеж знатно простолюдинов, он говорит: «Вельможи... людей низкого состояния приучают к презрению богатства, и так до самого простого народа, которому если и остается кусок железа, и тот безжалостная судьба исковывает в цепи рабства, и редко в острый меч на отмщение угнетения». А сообщая, что английские офицеры-инструкторы, нимало не смущаясь присутствием русских, избивали в строю персидских солдат, саркастически замечает, что «сею полезною операциею англичане внушают персиянам понятия о чести... но справедливая судьба может и им (персам. — М.Д.) представить благоприятный случай, и ручаться нельзя, чтобы когда-нибудь английские экзерцирмейстеры не расплатились за кулачные удары»⁷.

Тема права поработенных мстить угнетателям пунктиром проходит по тексту «Записки». Откровенная ненависть Ермолова к деспотизму не дает оснований сомневаться в том, что ему хотелось бы в данном случае видеть теорию естественного права переведенной на язык практических действий. «Тебе, Персия, не держающая расторгнуть оковы поноснейшего рабства, которые налагают ненасытная власть, никаких пределов не признающая, где подлые народа свойства уничижают достоинства человека и отъемлют познание прав его, где нет законов, преграждающих

своевольство и насилие, где обязанности каждого истолковываются раболепным угождением властителю, где самая вера научает злодеяниям, и дела добрые не получают возмездия, тебе посвящаю я ненависть мою и, отягчая проклятием, прорицаю падение твое!» — таково заключение «Записки»⁸. Кажется, еще немного и Ермолов примет на себя роль справедливой судьбы и отомстит за слезы страждущих; он, по всей видимости, и не против, но только в качестве главнокомандующего русской армией.

Известно, что «Персидские письма» были прежде всего письмами о Франции, а не о Персии, которая занимала автора много меньше. В этой связи естественно спросить, насколько «Записка о посольстве в Персию» может считаться «русскими письмами»? Ибо, несмотря на многочисленные уверения в том, что чудесно быть жителем страны с «кротким правлением», у Ермолова есть немало прямых аналогий с тогдашней Россией. Причем аналогии эти не слишком завуалированы. Речь идет не об одних лишь описаниях придворных и вельмож. Взять хотя бы кулачные расправы с солдатами во время «экзерциции», бедственное положение «поселян», незащитных перед произволом власть имущих, роскошь «верхов» и нищету простого народа. Разве все это Ермолов мог видеть только в Персии? При желании «Записку» нетрудно рассматривать как образцовое произведение с «неконтролируемым подтекстом», где чуть ли не каждое слово или мысль непременно имеет двойной, потаенный смысл. Так, Ермолов пишет о персидском деспотизме, а метит в российский, льет слезы над положением порабощенной женщины Востока (кто же из европейцев мог пройти мимо такого знака «роскоши восточной», как гаремы!), а думает о русских крепостных «харемах», критикует англичан за избияния солдат-персов, а сам имеет в виду соотечественников-аракчеевцев и т.д. Опровергнуть рассуждения такого рода зачастую весьма трудно. Тем более что в ряде случаев они верно отражают подцензурность мышления целого народа. Но есть ли подтекст в данном случае? Можно ли утверждать, что, по мнению Ермолова, русские крестьяне и солдаты имеют право на «острый меч на отмщение угнетения»? Важность подобного вывода трудно преувеличить. Однако воздержимся пока от окончательных оценок. Заметим лишь, что «Записка», сразу же начавшая распространяться в списках, без сомнения укрепила либеральную репутацию Ермолова. О том, что его «персидский журнал» воспринимался как произведение достаточно радикальное, говорит, в частности, письмо А.Я. Булгакова брату (1818), в котором он сожалеет, что «Записку» «нельзя напечатать ради многих вольных суждений».

Мы не знаем, в какой мере призывы Ермолова к уничтожению персидской тирании разделяли его друзья, но то, что они были

вполне солидарны с его оценкой Персии как деспотии и его пониманием деспотизма вообще, несомненно. Об этом свидетельствуют письма Ермолова Воронцову и Закревскому, в которых Алексей Петрович дает сжатые характеристики персидского общества, причем он явно не сомневается, что его слова будут правильно поняты. Здесь нет ничего удивительного — главные аспекты социологических теорий Просвещения давным-давно были усвоены русской дворянской интеллигенцией.

Тем неожиданнее на фоне эпического обличения тирании выглядит письмо Закревскому, написанное в 1819 г., через два года после посольства. «Из доставленных мною известий усмотришь поведение шахского сына Аббаса-Мирзы. В бытность мою в Персии несколько трудно мне было отделаться от признания его наследником, хотя в инструкции дано мне было на то право. Я видел злобу против нас и черную гнуснейшую его душу; видел, с неудовольствием, во всем его умеренность и что, будучи шахом, теперь накопленные сокровища и доходы государства все обратит он на регулярные войска и на учреждение разных заведений, пригласит искусных иноземцев, и персияне будут приходить в цветущее состояние, тогда как ненавистные свойства сего презрительного народа должны по справедливости удерживать его во всяком роде беспорядка, беспутства и междоусобиях. Мне скажут, что желать соседям последнего невеликодушно и далеко человеколюбивых правил нынешнего времени. А я скажу, как простолюдин, что при всех нынешних мудрых и утонченных средствах не видел я, чтобы медведей привязывали розовою лентою, а не цепью железною, или бы научали их одними знаками, а не толстою дубиною».

Разумеется, «странность» здесь только внешняя. Нет оснований противопоставлять Ермолова Ермолову. Он равно искренен и когда пишет «Записку», и когда в раздражении пишет это письмо. Одно дело — реальные страдания людей, твое собственное отношение к страданиям, жестокости, нищете и пр. Совсем другое — как соотносятся со всем этим интересы России. Можно сказать, что Ермолова-человека «беспорядок, беспутства» возмущают, а Ермолова-главнокомандующего в Грузии они устраивают. Далеко не случайно, что ироничный тон «Записки» становится серьезным и даже немного грустным только в одном случае: когда речь заходит о реформах Аббаса-Мирзы.

* Ермолов пишет, что для вельмож главное угодить шаху, «хотя бы и с потерю чести, которая здесь нечто баснословное. В их разумении нет блага отечества, славы национальной. Все заключается в рабственном угождении неограниченной воле шаха... В общем понятии я должен быть наряду с прочими угождателями. Довольно для тебя сего!!!...» (РиО. Т. 73. С. 240).

ЕРМОЛОВ НА КАВКАЗЕ — 2

Нельзя ли сделать, чтобы судьи не воровали или бы не воровали столько безобразным образом? Будет чудо!

Ермолов — Закревскому, 1819 г.

Итак, Ермолов-администратор.

Гражданское управление было сферой совершенно новой для него. Впрочем, подобное назначение было вполне обычным для Империи, где генералы весьма часто являлись и гражданскими администраторами. Перефразируя Воронцова, можно сказать, что в глазах правительства командование дивизией считалось верхом человеческого совершенства. Но в данном случае ситуация была особой. Если в центральных губерниях, да и в самом Петербурге, процветали беззакония и воровство, то легко представить, что творилось на окраинах, где произвол не имел границ. Грузия считалась местом ссылки и, естественно, стала прибежищем лихоимцев и проходимцев всех рангов, которые, прикрываясь мундиром, позорили российское правление и Россию. Злоупотребления здесь были тем значительнее, что население не знало российских законов и грабеж местных жителей осуществлялся чаще всего под прямым покровительством жены предшественника Ермолова Ртищева и его приближенных.

Ермолов прекрасно понимал, что его успехи на новом посту в большой степени будут зависеть от того, насколько ему удастся совладать с «гражданскими кровопийцами». Но свои возможности он оценивал с самого начала вполне реалистично: «Не берусь я истребить плутни и воровство, но уменьшу непременно; а теперь на некоторое время приостановилось. За недостатком знания в делах я расчел, что полезно нагнать ужас, и пока им пробиваюсь. На счет грабительства говорю речи публично и для удобнейшего понятия в самых простых выражениях»¹. Этот реализм чрезвычайно показателен: он понимает, что полностью уничтожить воровство *невозможно!* Эту мысль мы запомним и позже попытаемся выяснить, почему он так думает.

В первых письмах из Грузии о «гражданском правлении» Ермолов говорит хотя и с юмором, но как бы нехотя, словно предчувствуя, что лавров на этом поприще ему не снискать. Он с нетерпением ждет ожидающегося преобразования гражданского управления, ибо, пишет он Закревскому, невозможно представить, что может быть еще хуже, чем есть. «Не изобретут ли средства уменьшить грабеж и разбой», — риторически вопрошает он и просит прислать в таком случае «рецепт», мечтает, чтобы ввели в обиход «последние в сем случае операции, то есть отсечение

головы», и сообщает, что у него «здесь многие бы наследовали Царство Небесное»².

А пока он действует методами привычными. С чиновниками держит себя «на военной ноге»: наложил секвестр на имущество всех чиновников казенной экспедиции, разогнал старую полицию в Тифлисе, трех человек посадил под караул в здание полиции, с тем чтобы они привели в порядок архив, где за последние 12 лет накопилось 600 (!) нерешенных дел. «Сия мера произвела здесь важное действие», — пишет он Закревскому. Была создана квартирная комиссия, упорядочена система воинских постоев, вся тяжесть которых раньше ложилась только на бедных горожан. Ермолов ездил в тюрьмы, посещал камеры, беседовал с арестантами, сверяя их рассказы с полицейскими делами, пытался облегчить их участь или по крайней мере ускорить решение дел³.

Словом, перед нами обычный российский вариант честной «новой метлы»: обескуражить, застрашать, разогнать, кого-то посадить, до остальных довести свое мнение «и для удобнейшего понятия в самых простых выражениях». Только надолго ли этого хватает? И долго ли «метла» остается новой?

Уже в 1818 г. Н.Н. Муравьев (будущий Карсский), обожавший Ермолова, но притом видевший его минусы (как, впрочем, и свои), писал, что злоупотребления при Ермолове «столь велики, как еще никогда не были: никогда столько взяток не брали, как нынче. Ермолов видит все, но позволяет себе наушничать и часто оправдывает и обласкивает виноватого. А сему причиною Алексей Александрович Вельяминов (начальник штаба корпуса, близкий друг Ермолова. — М.Д.), к которому все сии народы (т.е. взяточники и грабители. — М.Д.) подбиваются. Вельяминов же делает из Алексея Петровича что хочет. Столь долгое пребывание главнокомандующего на Сунже подает мысль, что ему Грузия надоела и что он хочет от дел отвязаться, отчего злоупотребления увеличиваются и народ ропщет»⁴.

То, что Ермолов смотрел на беззакония сквозь пальцы или даже не знал о них, вполне естественно. Ни Ермолов, ни гражданский губернатор фон Ховен, честный и благородный человек, не могли, конечно, за всем уследить. Произошла обычная в таких случаях замена некоторых элементов бюрократической машины новыми «запчастями», и она закрутилась в прежнюю сторону с прежней силой.

Справедливости ради нужно сказать, что Муравьев не знал всех причин беспорядков в гражданском управлении, не представлял до конца, насколько отлажен был «механизм» этой машины, взаимодействие между всеми ее частями. Казнокрады и взяточники в Грузии не могли бы всерьез развернуться, не имея

они мощной поддержки в Петербурге. Ермолов нередко был просто бессилён справиться с этой эшелонированной обороной.

Когда в 1815 г. встал вопрос о назначении нового военного министра, то Аракчеев, как сообщает Д.В. Давыдов, предложил царю кандидатуру Ермолова. Ермолов, говорил Аракчеев, конечно, сразу же со всеми перессорится, разругается, но армия будет одета, обута и сыта. Первый же год пребывания Ермолова на Кавказе, т.е. на таком месте и в такой должности, где можно было ссориться, вполне подтвердил правоту «Змея».

Отношения с правительством у Ермолова стали сразу же напряженными. И это понятно, учитывая, с одной стороны, его характер, а с другой — характер деятельности министров, который он оценивал точно так же, как и Закревский. Еще в Петербурге он писал Воронцову: «До сего времени как солдат не имел я дела с министрами и не знал, что Бог за грехи рода человеческого учредил казнь сию. Теперь собственные опыты научили, однако же, и тому, что природа не особенных людей в министры приуготовляет»⁵. В Грузии у него не было повода взять эти слова обратно. Ермолов, несмотря на все свое умение лицемерить в нужных случаях (не случайно друзья называли его не только «братом Алексеем», но и «патером Грубером»), все-таки не мог справиться с характером, с натурой. Бездарности он не выносил органически и очень часто действовал так, будто по-прежнему был тем самым подполковником, который в год Аустерлица не без конно-артиллерийского изящества нахамил Аракчееву. Его отношения с министром финансов графом Гурьевым в конце концов дошли до того, что Гурьев просил его по официальным вопросам вести партикулярную переписку, ибо тон писем Ермолова не мог вселить в чиновников Министерства финансов уважения к своему шефу. Вот колоритная зарисовка отношений Алексея Петровича с членами кабинета, которую он дал в письме к Закревскому: «Справедливо выговариваешь мне, что я со всем светом перебранился и что неприятелей у меня число несметное.

Слушаю твоего дружеского совета и начинаю смягчаться.

Ты не знаешь, что с министром юстиции приятельская переписка, правда, что чрезвычайно редко. С министром полиции самые сладкие приветствия взаимно. Финансы неблагосклонны, но если то от гордости, то не будет ему пощады, и я знаю то, что самое счастливейшее царствование Александра ничем не делает его лучше того, что он есть, и о уважении к нему (Гурьеву. — М.Д.) нельзя отдать в приказе... Я повинуюсь тебе, и ему даже пишу комплименты, и всему достохвальному его семейству, то есть графу Нессельроде, который точно человек прекраснейший, но я не виноват, что имею с ним дело как с

министром. На обеде, завтраке, при устрицах я всегда ему приятель; по службе Государя я требую не одной любезности»⁶.

Ермолов, как и другие наши герои, довольно быстро выяснил, что для честного человека одно из главных препятствий в жизни и по службе (что часто одно и то же) — правда. Власть хочет знать лишь то, что хочет знать, и твердо верит, что, говоря современным языком, «показуха» и есть правда. Одно из резких писем Ермолова императору о положении дел в гражданском управлении было передано последним в те самые министерства, на действия которых генерал жаловался (знакомый сюжет!). «Правду и весьма правду говоришь, — жаловался Ермолов Закревскому, — что письмо мое зло... но кто мог ожидать предательского способа, каковым с ним поступлено. После сего станут еще сомневаться, что простосердечие мое не вредит мне. Конечно, после сего и самую правду буду я говорить сквозь зубы, если за нее должен я покупать себе злодеев, которыми и без того очень изобилую. Воображаю, как дуются министры и какие готовы делать мне пакости, но я не буду сердиться и их в свою очередь буду, сколько возможно, истреблять, хотя весьма уверен я, что сражения не всегда будут в мою пользу»⁷. Ермолов, понятно, не сдержал слова и продолжал говорить правду отнюдь не «сквозь зубы».

Петербург не упускал ни одной возможности навредить строптивому «Проконсулу». Между ним и членами кабинета началась чуть ли не «война». В частности, это привело к тому, что Ермолова явно и тайно порочили в глазах царя и света, его постоянно обвиняли в превышении власти, беспорядках, клевете на якобы честных служащих и т.п.

А возможности у Петербурга для этого были обширные. Характерный пример — сенатская ревизия управлявшихся Ермоловым областей в 1818 г., которая в числе прочего должна была проверить, насколько верна информация Ермолова о злоупотреблениях по гражданской части. Сенаторы ехали на Кавказ с уже готовым мнением. Ермолов об этом был предупрежден. Ревизия была чрезвычайно поверхностной, сама в дела не вникала, а доступа к сенаторам не было: через неделю после их отъезда Ермолов получил «ужаснейший донос» на гражданское начальство. В Астрахани они «счастливо» играли в карты — известный способ приема потенциально опасных столичных визитеров. «Нельзя не видеть, что получили приказание находить все в хорошем виде... Ко всему придираются, чтобы сколько возможно извинить беспорядки, словом, приметно, что ищут сделать представление, противное тому, как говорил я о здешних гражданских разбойниках... Не знаю, зачем присылают этих господ?» — пишет Ермолов и добавляет, что «гораздо проще прислать первого

плац-адъютанта», который просто объявит приказ о том, что все хорошо⁸. Правительство от таких ревизоров ничего не узнает, продолжает Ермолов, а будет считать, что ими все сделано и приведено в надлежащий вид. «Нельзя при царствующих ныне министрах, при дремлющем инвалидном Сенате достигнуть правосудия!» — горестно восклицает он. Вопрос о том, всерьез ли полагал Ермолов, что при других министрах ситуация изменится, мы оставим пока в стороне. Нужно только отметить, что он категорично заявил: в следующий раз он доложит обо всем царю и Сенату, «похитившему имя столь знаменитое и столь мало ему приличествующее», и оставит службу⁹.

Возникает вопрос: а почему же он не сделал этого сразу? Ермолов предвидит этот вопрос и отвечает, что его мнение будет так представлено царю, что тот ему не поверит: «Назовут меня дерзким, строптивым, и когда буду я просить одного взгляда на злодеяния и беззакония, в то время отвратят внимание от жалоб и не будет мне доверия. Не мне делают обиды и угнетения. Обязан я доводить до Государя стон угнетаемых»¹⁰.

Эта ситуация нетерпима для Ермолова. Да, обижают и угнетают не его. Но это пятно на репутации России и самого императора. Он как верный слуга должен сделать так, чтобы царь услышал «стон угнетаемых». Должен, но не может. Кстати, Сабанеев и Киселев свои важнейшие мнения тоже не поверяли бумаге, а ждали личного свидания с царем, ибо хорошо представляли тонкости работы придворно-правительственного механизма.

Итак, мнение Ермолова о существующей Системе самое нелюбимое. Почти такое, как у Закревского. «Почти», потому что у Алексея Петровича еще сохраняется надежда на императора, а Закревский этой надежды уже лишен. Вспомним фразу Ермолова о «царствующих ныне министрах» и «дремлющем инвалидном Сенате». Что будет, если сменить министров и разубедить Сенат, заодно перестав делать из него богадельню, каковой он был? Изменится ли от этого положение в стране?

Видимо, Ермолов считает, что изменится*. Это, в общем, понятно. Ермолов, как и другие герои этого рассказа, хорошо знал себе цену. Эпоха Александра в те годы еще давала

* Вот что Ермолов писал Закревскому в августе 1818 г.: «Любопытно постановление о наместниках, но если и они, подобно губернаторам, будут рабами каждого из министров, то это никуда не годится и лучше старого беспутства не умножать новым. Иначе будут они весьма непристойным Государя изображением». В следующем письме он вернулся к этой теме: «Отличные места сии по крайней мере ту принесут пользу, что почетным образом можно удалить нашу братию из армии. А как мы и за сии должности возьмемся с усердием, то со временем уподобимся Сенату! Впрочем, если будут люди способные, то, конечно, могут принести пользу» (РИО. Т. 73. С. 302, 306).

талантливому человеку немало возможностей для того, чтобы ощутить свою значимость, чтобы почувствовать себя личностью в полном смысле слова, особенно на фоне людей, об уважении к которым нельзя было «отдать в приказе». Отсюда вытекает логичное, на первый взгляд, представление о том, что если каждый на своем месте будет делать максимум полезных дел, то все будет хорошо. При этом подразумевается, что пользу все люди понимают одинаково. Мы еще не раз столкнемся с этой чуть ли не бессмертной точкой зрения. Споры нет, на любой должности честный человек лучше вора. Однако мы видели, каких успехов добился бескорыстный Ермолов, сменив на посту нечестного или, в лучшем случае, безалаберного Ртищева. Знаем мы и о том, что Ермолов был убежден в невозможности искоренить «грабежи и разбои» гражданских и военных чиновников. Где же логика? Неужели он не понимал, что не в хорошем или плохом чиновнике дело?

«СМИРИСЬ, КАВКАЗ»?

Еще в ту пору, когда самые горячие симпатии автора этих строк примерно поровну делились между людьми, носившими камзолы, фетровые шляпы и ботфорты, и людьми, облаченными в чикчиры, ментики и кивера, этот человек пленил его.

Все началось с портрета.

Этот гордый величественный профиль! Эта почти чапаевская бурка на громадной фигуре! А храбрость и независимость поведения! Такой человек не мог не стать кумиром и, конечно, стал им.

Ирония пришла позже, когда, в частности, выяснилось, что Ермолов сам весьма высоко ценил свою фигуру (и прежде всего за размеры), как бы используя ее в служебных целях.

Но обаяние портрета не исчезло.

Герой опирается на саблю, но кажется, ему нетрудно опереться на одну из острых вершин, в правильном беспорядке нагроможденных на горизонте. И романтический пейзаж, и гривастая бурка, делающая похожим на гору мощный торс, на котором несколько чужеродно выглядит край эполета, все это — как бы пьедестал для Лица.

Оно царит.

Царит над облаками, над мятущимся, тревожным, еще только начинающим успокаиваться небом, над величавыми горами.

Резкие мощные черты, грозно сжатые губы, будто навек окаменевшие скулы, подбородок Цезаря или Мефистофеля, львиные бугры нахмуренного лба. Это лицо само по себе кажется

главной вершиной Главного Кавказского хребта. И, конечно, на таком лице должны быть именно эти небольшие острые глаза.

Что они видят там, за горами?

Какие страны? Какие моря? Что еще должно покорить?

Кстати, этот портрет едва ли не единственный в Военной галерее Зимнего дворца, на котором изображен не герой 1812 г., а герой вообще. Портрет Ермолова, по существу, лишен отвлекающих внимание аксессуаров военного мундира. И, быть может, не случайно его бурка так похожа на львиную шкуру, из тех, что набрасывали на плечи античные исполины и императоры. Это — римлянин. Недаром его называли тогда «Проконсулом».

В иконографии Ермолова примечателен еще один прекрасный портрет (он помещен в БСЭ). Трудно отделаться от ощущения, что он явно спорит с изображением Доу (строго говоря, Доу написал два варианта портрета Ермолова). Герой изображен анфас. Хотя он постарел, голова совершенно белая, но тем не менее это муж в расцвете сил и опыта. Лоб его по-прежнему нахмурен, те же цепкие глаза под сведенными бровями, те же гордые красивые черты лица, жесткую линию рта замыкает теперь скоба черных усов, подчеркивающих благородную седину густых коротких волос. В портрете есть что-то от пушкинской характеристики Ермолова — «голова тигра на туловище Геркулеса»; правда, в основном от второй ее части. Генеральский мундир с Георгиевским орденом 2-й степени на шее, тремя звездами и лентой усиливает впечатление мрачного величия.

Этот портрет льстит герою не хуже всякого иного; Ермолову он несомненно нравился. Но в нем определенно не хватает романтической приподнятости и авторского как бы умиления изображаемым, которые столь свойственны жанру вообще и парадным портретам Доу в частности; у него они создают своего рода эмоциональную рамку для личности. Автор второго портрета видит Ермолова иначе, он словно знает о нем что-то такое, чего не знал или не видел Доу. Этот постаревший Ермолов, быть может, даже значительнее, величественнее, но в то же время как-то обыденнее, конкретнее, приземленнее что ли. С точки зрения романтического обаяния портреты различаются примерно так же, как «Кавказский пленник» и «Записки во время управления Грузией».

Второй портрет принадлежит кисти художника с необычной фамилией — Захаров-Чеченец. Он прожил короткую и странную жизнь. И действительно знал о Ермолове немало.

14 сентября 1819 г. русские войска окружили и разгромили аул Дадан-Юрт. Приказ был «никому не давать пощады», ибо Ермолову был нужен «пример ужаса». Погибло не менее 400

жителей и около 200 солдат и казаков. «Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли жен своих в глазах их, дабы во власть их не доставались. Многие из женщин бросались на солдат с кинжалами... Женщин и детей взято в плен до ста сорока, которых солдаты из сожаления пощадили как уже оставшихся без всякой защиты и просивших помилования (но гораздо большее число вырезано или в домах погибло от действия артиллерии и пожара)».

Среди пленных был мальчик, ставший в тот день сиротой. Его взял на воспитание Петр Николаевич Ермолов, кузен Алексея Петровича.

Мальчик вырос и стал художником. И написал портрет злого дяди, который в воспитательных целях сделал его сиротой и лишил родного дома. Такое вот странное сближение...

Трудно сказать, доволен ли был Захаров своей судьбой. Но об его отношении к А.П. Ермолову судить можно. Его Ермолов — не романтический завоеватель Доу. Это человек, устраивающий, выражаясь языком просвещенного XX века, акции устрашения, а затем описывающий их с простодушным цинизмом. Едва ли этот человек мог когда-то произнести: «Неужели великодушнее положить тысячи невинных, нежели отнять жизнь у одного злодея?» Этот — не мог, в отличие от того.

Эпиграфом к теме «Ермолов и колониальная политика России» может служить решение городских властей Грозного о том, что многострадальный памятник Ермолову должен быть, наконец, убран. Едва ли Алексей Петрович в своей реальной боевой жизни подвергался таким опасностям, как его металлическое изображение, стоявшее на улице им же основанной крепости Грозной и как бы продлевавшее его военную биографию. Хотя, конечно, памятник Ермолову было бы куда уместнее водрузить на его родине, в Орле.

Как известно, до Великой Отечественной войны имя Ермолова в советской историографии употреблялось преимущественно с отрицательным знаком. Однако после выселения с родины чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев «выяснилось», что Шамиль, оказывается, был английским и турецким шпионом одновременно (видимо, в духе времени быть агентом какой-либо одной страны было несолидно). Одновременно «вспомнили», что Ермолов был другом декабристов, знаменем оппозиции и т.д. Первой ласточкой стала глава «Ермолов и ермоловцы» в книге М.В. Нечкиной «Грибоедов и декабристы» (1947), появление которой невозможно представить, скажем, в 1940 г., когда вышел университетский учебник Истории СССР XIX в.

Поскольку деятельность Ермолова в Дагестане и Закавказье даже после событий, «ознаменовавших» поворот в национальной

политике страны, оценить с симпатией было трудно, то о ней стали писать как можно меньше. В итоге в работах, посвященных Ермолову, в последние десятилетия мы просто видим фразы о «противоречивости некоторых сторон его мировоззрения», которые так же мало объясняют его личность, как и прежнее умолчание о любви к нему многих прогрессивных людей России XIX в.

Между тем понятно, что противопоставлять Ермолова, чьим именем пугали детей в горах, Ермолову, которым на каторге клялись такие люди, как, например, Якубович, неправильно.

За недостатком места мы не сможем осветить колониальную политику России сколько-нибудь подробно. Но сделать некоторые замечания необходимо.

Проблема отношений с местным населением была столь же важна, как и сложна. Велика была и ответственность Ермолова за каждое без преувеличения свое действие. Впрочем, он к этому был готов.

Первым объектом его «экспансии» стала азербайджанская и грузинская знать. Он, как мы знаем, вообще не жаловал титулованных особ, а здесь к тому были дополнительные веские причины. «Мои предместники слабостию своею избаловали всех ханов и подобную им каналью до такой степени, что они себя ставят не менее султанов турецких и жестокости, которые и турки уже стыдятся делать, они думают по правам им позволительными. Предместники мои вели с ними переписку, как с любовницами, такие нежности, сладости, и точно как будто мы у них во власти. Я начал вразумлять их», — писал он Закревскому. Немногим лучше отзывался он и о грузинской знати: «Князя не что иное есть, как в уменьшенном размере копия с царей грузинских. Та же алчность к самовластию, та же жестокость в обращении с подданными. То же благоразумие одних в законодательстве, других в совершенном убеждении, что нет законов совершеннейших»¹.

Как можно видеть, принципиальной разницы между знатью Закавказья и Персии для Ермолова нет. Программа действий у него была готова: главное средство — «чрезвычайная строгость».

Идеальная цель Ермолова — сделать присоединенные области российскими уездами, а их жителей, прежде всего дворянство, русскими. Это понятно — унификация для Империи одновременно и средство, и цель, однако цель пока более или менее отдаленная. «Образование народов принадлежит векам, не жизни человека», — совершенно справедливо замечает Ермолов в письме Воронцову. Ближайшую же задачу он видит в уничтожении наиболее вопиющих проявлений азиатского деспотизма и введении во владениях России хотя бы подобия российского управления, которое, по его мнению, все же лучше того, что было там раньше.

«Все подвиги мои, — продолжает он в том же письме к Воронцову, — состоят в том, чтобы какому-нибудь князю грузинской крови помешать делать злодеяния, которые в понятии его о чести, о правах человека суть действия, ознаменовывающие высокое его происхождение; воспретить какому-нибудь хану по произволу его резать носы и уши, который в образе мыслей своих не допускает существования власти, естли она не сопровождается истреблением и кровопролитием»². Относительно носов и ушей Ермолов не преувеличивал. И, забегая вперед, заметим, что его политика ограничения самовластиа знати объективно улучшала положение простого народа, о чем не раз писали апологеты Ермолова еще в XIX в. Вообще, следует еще раз подчеркнуть, что к народу Ермолов относился иначе, чем к его властителям.

«Образование народов принадлежит векам». Но у Ермолова, как он считал, не было и десяти лет. Максимум того, что он мог сделать, это «начертать путь и дать законы движению» тех, кто придет после него. Но делал он это с удручающей казарменной прямолинейностью, которая плохо соответствует масштабам его личности. Ни о каком, даже элементарном учете многовековых традиций и нравов местного населения не было и речи. В лучшем случае он относился к ним иронично. Он не пытался, как, например, Н.Н. Муравьев, *понять*, а только осуждал. Ему совсем не хотелось ждать «образования народов». «Благотельная строгость» (А.А. Закревский) — основной, как мы знаем, метод Ермолова. В этом, конечно, сказывалось стремление подчеркнуть различие между собой и Ртищевым, при котором злоупотребления достигли огромных размеров и который «разбаловал мягкостью» знать, с чем Ермолов решительно не мог согласиться. Но вместе с тем силовые приемы в целом соответствовали взгляду Ермолова на проблему.

Презирая то, что было достойно презрения, — варварство, деспотизм власть имущих, Ермолов вместе с водой выплескивал ребенка. Осуждая азиатские нравы с европейских позиций, он боролся с ними такими же азиатскими, «нецивилизованными» методами. И это естественно. Часто ли «миссия белого человека» осуществлялась по-другому? Такова обычная логика формирования империй, а Ермолов, как известно, был знатоком римской истории.

Не следует забывать, что Россия имела богатый опыт «борьбы с варварством варварскими средствами». Тезис «законы должны соответствовать народным нравам» Ермоловым интерпретировался несколько неожиданно: если люди понимают в качестве аргумента только силу, то с ними и действовать надлежит силой. И поэтому Ермолов совершенно искренне считал, что «здесь и добро надобно делать с насилием»³, и старался реализовать этот любимый тезис российских реформаторов в своей деятельности.

В какой мере правительство разделяло ответственность за те действия Ермолова, которые до сих пор вызывают к нему

ненависть жителей Кавказа? Вопрос очень важный. Еще до отъезда в Персию он писал Закревскому: «До тех пор, как не узнают коротко правил моих и точного намерения сделать пользу здешнему краю, много будут недовольны и дойдут вопли до вас... но вы не бойтесь, все будет довольны впоследствии. Я страшусь ваших филантропических правил. Они хороши, но не здесь»⁴. Оставляя в стороне вопрос, кто эти «все», в чем будущем одобрении Алексей Петрович так уверен, отметим слова «филантропические правила».

«Филантропия», т.е. человеколюбие, одно из самых любимых Ермоловым понятий. Не потому, что он такой уж человеконенавистник, а потому, что, по его твердому убеждению, это понятие часто служит для прикрытия явлений, плохо совместимых с настоящей заботой о людях. Так, на его взгляд, человеколюбивее было бы расстрелять Наполеона в 1814 г. Тогда не было бы «Ста дней», стойвших жизни десяткам тысяч людей, сложивших головы из-за честолюбия одного негодяя. Ермолов уверен, что внешняя пристойность, законность и т.п. «просвещенные понятия» должны отступать перед реальной жизнью, если она того требует. Раз закон прикрывает нечто, противное Пользе, значит, лучше, справедливее поступить вопреки закону. Если жестокий хан калечит своих подданных, значит, нужно сделать все, чтобы убрать его с престола, хотя бы и вопреки данному Россией слову, тем более что слово было дано под давлением неблагоприятных обстоятельств. Если тифлисские купцы пытаются поставить ему неприемлемые условия, не понимают своего «настоящего места», то нужно не вести с ними душеспасительные беседы (как сделал бы Ртищев), а просто поставить караул у дверей собрания и объявить, что пока вопрос решен не будет, никто на свободу не выйдет⁵.

Фраза «ваши филантропические правила» как будто говорит, что правительство возражало против других мер, применение которых Ермолов считал в ряде случаев неизбежным. Если это и было так, то скорее на уровне теоретическом, концептуальном. Дело даже не в том, что, за исключением самых вопиющих действий «Проконсула» и его подчиненных (например, печально знаменитый рейд генерала Власова по Закубанью), его деятельность в общем и целом одобрялась царем. Политика правительства на Кавказе не была последовательной, что отражало общий ход дел в стране. Царь лишь определял ее общее направление. Вполне возможно, что он не признавал репрессии в качестве основного средства решения сложнейших проблем региона. Однако своими действиями правительство нередко доводило подвластные народы до возмущения, заканчивавшегося восстанием. Тогда оно умывало руки, а Ермолов, который по должности обязан был подавлять, расправляться и т.п., оказывался в глазах всего мира злодеем.

Характернейший пример в этом смысле — восстание 1819—

1820 г. в Имеретии. Русификаторская политика правительства коснулась грузинской церкви: духовенство решено было подчинить Синоду и назначаемому Петербургом экзарху (митрополиту) Грузии. При этом резко сокращалось число приходов, количество священников и епископов. Церковных дворян начали выселять на казенные земли. Единственным положительным моментом явилось освобождение княжеских и дворянских священников и их семей от крепостной зависимости. Реформа, естественно, вызвала резкое недовольство грузинской церкви и дворянства. Дело кончилось восстанием.

Драматичность положения Ермолова заключалась в том, что он был категорически против этой реформы, ибо прекрасно понимал ее несвоевременность, но сделать ничего не мог. В Петербурге, как это не раз бывало, его мнение проигнорировали. Ермолов во время «проконсульства» старался не ставить нереальных задач, так как был уверен, что малейшая неудача может сказаться на престиже страны. И вот он против своей воли был вовлечен в эту историю, которая, начавшись, уже непременно должна была быть закончена, по соображениям престижа прежде всего. Д.В. Давыдов именно о таких случаях говорил, что военный человек — раб. Отступить Ермолову было невозможно: повеление императора должно быть исполнено. Восстание в Имеретии, во время которого был убит, в частности, любимец Ермолова полковник Пузыревский, было жестоко подавлено.

Однако что касается походов в горы против народов Дагестана и чеченцев, то это была целиком ермоловская инициатива. И делить ответственность ему не с кем.

При оценке Ермолова — имперского администратора нужно учитывать, что его репутация была не только «сделана», но и в немалой степени «наговорена» им самим. Он был крупным мастером блефа во всех сферах жизни. Назвав Ермолова «сфинксом новейших времен», Грибоедов скорее всего имел в виду именно эту сторону его личности (заметим, что это точка зрения одного из проницательнейших людей эпохи). Ермолов обожал удивлять, поражать и т.п. В этом смысле посольство в Персию дает верную картину. Письма его пестрят словами «надул», «запугал», «испугал» и другими в том же роде.

Свою репутацию на Кавказе Ермолов не завоевывал постепенно, а установил немедленно, и такую, какую хотел: сильного, властного, абсолютно бескорыстного человека, жесткого, а порой и жестокого правителя, которого при случае ничто не остановит. Н.Н. Муравьев говорил, что в одной из бесед с грузинскими князьями Ермолов пригрозил, в случае если они взбунтуют народ, —стребить в Кахетии 30 тыс. человек. Само по себе это заявление — типично ермоловский блеф. Ему важно было с самого начала устрашить влиятельные и владетельные умы, как бы обозначить перспективу репрессий. Несмотря на многочислен-

ные «фельдфебельские» заявления, он далеко не всегда был прямолинеен. Так, если шекинского Измаил-хана он приструнил сразу же, то сильнейшего из ханов — ширванского Мустафу — до поры «ласкал» (причем на первое свидание с ним отправился со свитой всего из пяти казаков, со вкусом сообщив потом Закревскому: «Вот чем я его зарезал!»)⁶. Создавая себе неординарную репутацию, он, в частности, демонстративно отказался от богатых подарков, которые пытались сделать ему «по обычаю ли земли, или по обычаю главнокомандующих», но разрешил каждому хану преподнести ему по простой узде и плетке — «эмблематические подарки». А вместо предметов роскоши взял для русских солдат 7 тыс. баранов.

Жизнь, однако, сложилась так, что его угроза залить Кахетию кровью осуществилась. Но иначе и быть не могло, ибо тезис «добро с насилием» — парафраз понятия «цель оправдывает средства». И человек, исповедующий его, внутренне *готов* к применению насильственных средств для достижения *достойной*, как ему кажется, цели. Дело лишь за обстоятельствами, но история показывает, что таковые непременно находятся. Или их создают.

Вышесказанное позволяет сделать весьма важный вывод. У Ермолова, в отличие, например, от Воронцова, очень слабо выражено то, что можно назвать правовым сознанием. У него другое видение мира. Его деятельность как главы русской администрации на Кавказе, как главного представителя императора и даже как командира Кавказского корпуса весьма относительно сопрягается с законностью.

Разумеется, и в России сплошь и рядом царило беззаконие. Но неопределенное в целом правовое состояние подвластных земель, достаточно неопределенное положение Власти, сочетание местных обычаев и российских законов, правовая неграмотность не только местных жителей, но и русских чиновников, — все это значительно расширяло рамки возможного произвола и Ермолова, и его подчиненных. Здесь важно различать, *что* обуславливалось этим объективно неопределенным состоянием, а *что* было воплощением программных установок самого «Проконсула» («добро с насилием» и т.п.).

Мы видели, что его политика на Кавказе — как бы продолжение «персидской» линии. И для того чтобы превратить Закавказье в Россию, ему не очень-то были нужны законы, как не нужны были и «филантропические правила», предполагающие терпимость или хотя бы внешнее уважение к чужим нравам и обычаям.

Напомним, что Ермолов не стеснялся в выборе средств и по отношению к своим непосредственным подчиненным. Если под замком оказывались тифлиские купцы, то и чиновники сидели под арестом.

Таков стиль мышления и поведения Ермолова вообще.

Это не означает, что Ермолов только и думал, как бы ему нарушить закон, поступить самовластно и т.п. Равно неверно представлять его априори жестоким человеком (такова была, например, точка зрения Л.Н. Толстого).

Ермолов был не первым и не последним представителем того могучего племени российского начальства, российской бюрократии, которое было воспитано в петровских традициях и привыкло к тому, что «указы пишутся кнутом», что дубинка и государственная польза — два неразрывно связанных понятия и что без дубинки польза останется музейным экспонатом.

* * *

Теперь настало время обратиться к конкретным проблемам эпохи и рассмотреть отношение к ним наших героев.

В сентябре 1817 г. Закревский писал Воронцову: «Я хотел бы с вами побеседовать и послушать ваше замечание насчет Литовского корпуса... а равно поселяемых войск и вольности в России. Часто о сем рассуждаю с людьми, к которым имею уважение; но не видим пользы государственной, и по сие время не вижу людей, которые бы сие одобряли. Признаться вам должен, что сии предметы у меня из головы не выходят». В одной фразе Закревский объединил все главные политические проблемы-тревоги того времени. Действительно, в словах: реформы, Польша, поселения — заключалась вся тогдашняя правительственная программа. Попробуем охарактеризовать каждую из этих проблем.

«БРЕДНИ ПРЕПОРЯДОЧНЫЕ»

Поселяне могут получить такую ненависть к военным, что скоро в нас начнут бросать камнями, а из нас не каждый достоин быть св. Стефаном. Это один случай, в котором граф Аракчеев не сыщет завидующих.

Ермолов — Закревскому, 1819 г.

А тем временем уже мостились благими намерениями дороги к военным поселениям...

С начала декабря 1816 г., когда Закревский впервые сообщает Воронцову о начавшемся «поселении полков», и до 1818 г. эта тема остается одной из главных в переписке:

«Поселением войск тщательно занимаемся; а мужики не с охотою оное принимают, и дорогою во время проезда императриц

и великого князя из Петербурга в Москву их толпы мужиков останавливали и жаловались, прося довести до сведения Государя»;

«Поселение войск наших удивительно увеличилось и бдительность гр. Аракчеева по сему предмету удвоена; но пользы никакой не видим, а издержки ужаснейшие. Вы знаете, кто начальники поселенных войск; следовательно, и ожидать путного ничего нельзя»;

«Поселение увеличивается под мудрым начальством Аракчеева, который о благе общем нимало не заботится и есть по делам его вреднейший человек в России»;

«Поселение продолжается, и скоро будут водворять целыми дивизиями. Мы мнимой пользы сего поселения, верно, не дождемся, а дети и внуки, у кого оные есть, будут сие полезное заведение оплакивать»¹.

Злая ирония Закревского приятно удивила бы, видимо, даже Герцена. «Аракчеев... вреднейший человек в России», «пользы никакой», «мнимая польза», а «устав» поселений он называет «бреднями препорядочными».

Мы привыкли к тому, что военные поселения — изощренная разновидность крепостничества, во многом побившая все прежние рекорды узаконенного российского рабства. Поэтому сам факт оценки поселений сразу как бы определяет позицию современников по отношению к Аракчееву и аракчеевщине. Это в общем верно. Однако нельзя забывать, что в самом начале тридцатилетней истории системы военных поселений мотивы ее неприятия были несколько иными. То, что эта система станет синонимом дичайшего произвола и жестокости, было далеко не очевидно в первые месяцы ее введения, когда писались только что приведенные строки.

Как известно, военные поселения были созданы для того, чтобы постоянно держать под ружьем громадную армию, которая должна была находиться на самофинансировании. Тем самым правительство преследовало две основные цели. Во-первых, сокращались расходы на армию, о чем царь очень любил рассуждать. Во-вторых, правительство в известной степени эмансипировалось от зависимости от дворянства, в которой оно находилось из-за рекрутских наборов. Поселения должны были оптимальным образом соединить военную службу и сельское хозяйство. Эти прозаические цели декорировались утверждениями о том, что с введением поселений исчезнут слезы, сопровождавшие каждый рекрутский набор*, что солдат будет находиться в кругу семьи, хорошо питаться и вообще вкушать все радости жизни,

* Вспомним знаменитый «штандарт» III Отделения е.и.в. канцелярии — знаменитый платочек, якобы врученный Николаем I А.Х. Бенкендорфу для осушения слез обездоленных российских граждан.

которых ныне лишен (о, любимое грамматическое время русского правительства — будущее!). Причем эти пасторально-идиллические картины даже в официальных документах рисовались в лучших традициях сентиментализма XVIII в.

Современники прежде всего подвергли критике главную идею поселений — попытку объединить «ружье» и «соху». Как не без остроумия заметил Барклай де Толли, между ними существует «беспредельная разность»: «Там взыскивается позитура, ровный шаг и внимание к команде, а при сохе и у серпа требуется все, тому противное» (увы, он, как и другие, не предполагал, что можно, оказывается, и пахать «тихим шагом», соблюдая равенство, и молотить по команде капралов). Ермолов, хорошо знавший психологию солдат, утверждал, что «человек, служивший солдатом, редко может быть хорошим хлебопашцем. Его трудно уверить, чтобы земледелец не был состояния низшего, нежели человек, несший оружие за отечество. Кроме того, и сама долговременная отвычка уничтожает уже способность»². Вероятно, определение Закревского «бредни» относится и к этим аспектам теории поселений.

Однако основная причина ее неприятия заключалась в другом. Еще в 1760-х годах Екатерина II отвергла проект поселений, предлагавшийся Захаром Чернышевым, так как сочла опасными для внутреннего спокойствия государства столь многочисленные скопления вооруженных людей (добавим, семейных людей). Мнение Екатерины отражало позицию большинства дворян страны, и его, несомненно, разделяло и большинство дворян — подданных ее внука Александра. «Поселения военные неминуемо должны были образоваться в военную касту с оружием в руках, ничего не имеющую общего с остальным населением России», — писал декабрист И.Д. Якушкин. Ему вторил декабрист С.П. Трубецкой: эта «в государстве особая каста... не имея с народом ничего общего, может сделаться орудием его угнетения». Как мы видим, о поселениях как о системе угнетения речи нет. «Классовое чутье» не подводит и Ермолова: «Я постигаю возможность здесь (на Кавказе. — М.Д.) сделать хорошие заведения, но совсем в другом роде, и здесь они не представляют ни малейшей опасности... но и к сему не иначе приступить должно, как с величайшей осторожностью»³.

В данном случае важно не конкретное отличие планов Ермолова от арачкеевских, а то, что последние он считает опасными («здесь они не представляют ни малейшей опасности», следовательно, «там» — опасны). Нетрудно догадаться, для кого опасна, кому грозит «военная каста». Внутреннее спокойствие государства — это спокойствие дворянства. И польза-то от поселений потому «мнимая», что рекламируемые выгоды от их

введения, совершенно покуда не очевидные, перевешиваются постоянной и явной угрозой, которая исходит от них. В конце июля 1817 г. Закревский пишет Киселеву: «Спешу тебе... ответить... касательно Бугского войска, для усмирения коего велено послать столько войска, сколько потребует граф Витт. Вот новые плоды цветущему и обдуманному поселению, и если во всех местах, где будут поселяться войска, появится сия новость, то не совсем последствия могут быть приятные. Впрочем, сие всегда ожидать можно»⁴. Закревский оказался прав: «сия новость» еще не раз повторялась при его жизни.

Опасность усугублялась тем, что идея реализовывалась «под мудрым начальством Аракчеева». Ермолов считал, что даже устройство «хороших заведений» на Кавказе требует осторожности. А во внутренних губерниях поселения вводились «без всякой осмотрительности», воистину с революционным размахом, что, по мнению Закревского, не могло не привести к печальным последствиям. Критически оценивался и начальствующий состав поселений. «Нельзя не удивиться, какие орудия избраны для приведения в исполнение сего трудного и многосложного плана. Лисаневич, Витт, Княжнин, Александров не самые благонадежные залогов в успехе»⁵, — полагал Ермолов. Не выше котирировался и начальник штаба поселений Клейнмихель (Мелкомишин, как говаривал Ермолов, любивший дословно переводить немецкие фамилии). В 1819 г., уже после подавления восстания в Чугуеве, Закревский писал Киселеву: «У нас теперь существуют две чумы: одна ваша, которая при мерах предосторожности исчезнет, а другая — Аракчеев — не прежде изгладится с земли нашей, как по его смерти, которой ожидать нам долго; признаться надо, что вреднейший человек в России. Мне кажется, что Клейнмихель со временем будет еще хуже его. Экспедиция его в Чугуев чудесная»⁶. Значит ли это, что, по мнению наших героев, при других начальниках поселения могли бы принести пользу? Вряд ли. Скорее, они как обычно акцентируют значимость подбора исполнителей для успеха любого дела.

В последние годы появился ряд интересных работ, которые содержат новые материалы по различным аспектам истории военных поселений, значительно расширяющие, а иногда и опровергающие привычные представления о них⁷. В частности, выяснилось, что экономическое положение южных поселений было значительно более благоприятным, чем северных. Они даже приносили прибыль в миллион рублей ежегодно. Эти и другие выводы указанных исследований очень любопытны. Однако в некоторых работах заметно неизбывное наше стремление вместо старого мифа немедленно создать новый⁸. Стремясь доказать, что были современники, которые находили в поселениях и привлека-

тельные стороны, а иногда даже считали их просто полезными, авторы оперируют такими оборотами: «поселения... не всегда и не всеми оценивались как явление вредное и не дающее определенных выгод государству», «привычные стереотипы и определения, будто поселения несли России только зло», «представления о восприятии ее (системы поселений. — М.Д.) почти всеми современниками только как регрессивного явления» и др.^{9*}

В подтверждение этого приводятся положительные отзывы о военных поселениях различных лиц — от титулярного советника до Сперанского, который «по воле императора... написал брошюру «О военных поселениях», предназначавшуюся для перевода на французский язык. В литературе давно высказано сомнение в искренности Сперанского. И это справедливо: после 1812 г. с трудом можно представить ситуацию, в которой он стал бы противоречить царю в важном для того деле. Что же касается положительных оценок современников, лично побывавших в поселениях, то вспоминаются два фрагмента из переписки Закревского и Киселева. В письме от 29—30 июня 1821 г. Закревский писал: «Государь третьего дня возвратился из новгородских поселений и очень был доволен, что вперед можно было предвидеть. Петраhana (князя Волконского. — М.Д.) туда возили и ему приказали поселения хвалить, что он и исполняет беспрекословно»¹⁰. В конце того же года Киселев сообщил Закревскому, что того будто бы видели в Вознесенске, где проходил смотр южных поселений. Закревский удивился: «В Вознесенске я не был, и кто выдумал такой вздор? Ты знаешь, какого я мнения насчет поселения, и, следовательно, меня не пошлют, да я и сам не поеду, дабы избавиться иметь сношения со Змеем». Эти строки несколько девальвируют восторженные отзывы высокопоставленных визитеров: расположение Аракчеева — серьезный приз, за который многие боролись.

Впрочем, авторы указанных работ честно приводят и некоторые негативные оценки поселений (кстати, ни одной — Закревского или Киселева, а ведь не последние в стране люди были). Но стремление «соблюсти», точнее, восстановить баланс опять-таки кажется не вполне искренним, ибо критика даже со стороны офицеров, служивших в поселениях, сопровождается следующим комментарием: «Не все офицеры могли видеть поселенные образования как единую и целостную структуру. Чаще всего они писали о том, что видели в каком-то одном регионе поселений, акцентируя свое внимание именно на отрицательных моментах,

* Эти, по всей видимости, неточные формулировки неизбежно вызывают вопросы о том, что такое прогресс и регресс в истории, что такое «определенные выгоды государства» и как их измерить и т.д.

которые сразу же бросались в глаза (огромные расходы при устройстве, жесткая регламентация хозяйственной жизни, массовые переселения поселян, истребление ими своего имущества). Они не могли знать всех нюансов и подробностей развития поселенной системы, а исходили чаще всего из мысли о страданиях народа и солдат»¹². На наш взгляд, указанная мысль была не самой плохой точкой отсчета. А в связи с прибылью, которую приносили поселения, нельзя не вспомнить, что Колыма, Воркута и даже многие колхозы тоже были прибыльными. Вопрос в том, в какой политэкономической системе производить измерения.

Касаются авторы и некоторых из наших героев: «Одобрительно к идее военных поселений относился генерал А.П. Ермолов. Более того, он участвовал в поиске и определении оптимальных форм поселения в 1816 г.»¹³. Во-первых, оборот «более того» здесь едва ли уместен — он не слишком явно вытекает из одобрительного или неодобрительного восприятия идеи поселений. Во-вторых, сам по себе факт участия в обсуждении идеи ничего не означает: могли Ермолов отказаться от такого явного знака внимания и доверия со стороны Александра I (да и Аракчеева), особенно в преддверии желанного назначения на Кавказ или сразу же после того, как оно состоялось! К.М. Ячменихин пишет: «Ермолов предложил ввести военные поселения без громкой огласки и, назначив войскам постоянные квартиры, предоставить им полную свободу «сливаться с населением страны». Под давлением Аракчеева такой вариант был отвергнут и принято решение о создании замкнутой единицы в виде округа поселения отдельного пехотного или кавалерийского полка»¹⁴. И потом определение «отношение к идее» слишком общо — каков уровень абстрактности данной идеи? В частности, поселения на Кавказе и в России (внутренней) не совсем одно и то же; это все-таки разные аспекты одной как будто идеи. И на каких основаниях они учреждаются? Какими средствами идея проводится в жизнь?

Письма Ермолова Закревскому не дают основания говорить об одобрении поселений (кстати, слова Закревского о том, что никто из уважаемых им людей не «видит в том пользы государственной», относятся, конечно, и к Ермолову, притом в первую очередь). Вряд ли Ермолов скрыл от него свое участие в совещаниях по этому вопросу. Вот что писал Алексей Петрович в конце апреля 1818 г.: «Прелюбопытно описание воинского поселения, но я трудно его понимаю, ибо оно совсем изменилось против прежнего предположения. Там выгоняли поселян на кочевье, чтобы воспользоваться их землюю, а теперь поселяне, кажется, хотят бросить землю, но их бежать не пускают. Не зная постановлений, не могу ничего сказать; я прошу графа Аракчеева прислать мне узаконения о сем новом совершенно

учреждении». В августе того же года он явно различает «идею» и методы ее реализации: «О поселении военном в здешнем краю я точно подумаю, и оно здесь чрезвычайно полезно быть может, но если будет оно уподобляться теперешнему и, сверх того, если рассматриваемо будет на *Литейной* (т.е. у Аракчеева. — М.Д), то может быть и смешается с грязью...» В ноябре 1820 г. позиция Ермолова комментирует уже не требует: «Вижу... большие успехи в поселениях. Лучшее доказательство удовольствия есть Александровская лента, данная *Витту*. Признаюсь, что награждение ужасное и надлежало бы умерить его *вычетом* с него Георгиевского креста, который при мирных добродетелях его совсем излишняя для него тягость... Основатель поселений должен быть в восхищении, ибо повсюду чрезвычайные награды и они должны разрушить все невыгодные о поселениях толки. Вот новый способ получить командование армии... Г.г. главнокомандующие армиями скоро почувствуют, что имеют сильного соперника... Я не столько знатный человек, но охраняют меня горцы от поселений. Честь учреждения оных будет принадлежать другому, а основатель до того счастливого времени не доживет. Здесь в некоторых местах будут они полезны впоследствии, но я боялся бы утеснительных правил, на коих они основаны, и здесь неудовольствие жителей может быть пагубным. У вас плети все решают, а здесь недовольным могут помочь неприятели... Если что подобное замыслят — вместе с приказанием присылай мое увольнение. Не сделаешь ошибки!»¹⁵

Не будем же ошибаться и мы.

УЖАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ «РЕЧИ ПРЕКРАСНОЙ»

Видно, в Варшаве прием не московский; там хоть бригадиры плачущие, но приверженные. Царство же сумасбродное Польское никогда не может русских любить, чем хочешь их ласкай. Полек не так легко надуть, как москвитянок, которые и теперь еще в чаду и мечтании. Когда наскучат вам смотры и ученья, от которых я сам не знаю, куда деваться.

Закревский — Киселеву, 1816 г.

«Восстановление» Польши — еще одна главная проблема времени. Бóльшая часть созданного Наполеоном Великого герцогства Варшавского была присоединена к России. Александр I принял титул короля Польского и оставил за собой право произвести те

изменения во внутреннем устройстве этого государства, которые сочтет необходимыми. Полякам было обещано «народное представительство», национальные государственные учреждения. Любопытно, что обязательство дать конституционное устройство Царству Польскому Александр принял на себя добровольно и даже настоял, чтобы аналогичное обязательство взяли на себя правительства Австрии и Пруссии, в состав которых также входили бывшие польские земли.

12 декабря 1815 г. Александр объявил о «восстановлении» Царства (Королевства) Польского. В тот же день была опубликована «Конституционная хартия», в которой российский император провозглашался наследственным польским королем, в его отсутствие страной управлял наместник. Россия и Царство Польское должны были вести единую внешнюю политику. Вопросы войны и мира решал император. Царство имело свою армию, костяк которой составили офицеры и солдаты Польского корпуса, сражавшиеся под началом Наполеона вплоть до его отречения.

«Под секретом, Государь надеется к 15 сентября быть в Варшаве, чтобы короноваться. Очень нужно!» — пишет в июле 1817 г. Закревский Воронцову. На несколько месяцев эта тема становится едва ли не самой популярной. Всех беспокоит слух о присоединении к Польше Волыни и Подолии. Закревский подтверждает существование данного слуха, но точных сведений дать не может. 10 августа он пишет о создании особого Литовского корпуса, в который вошли и польские части, воевавшие совсем недавно с русскими, и заключает: «Я так сим взбешен, что не нахожу слов подробнее вам описать»¹.

«Бешенство» — вот слово, которое точнее всего характеризует реакцию подавляющего большинства русских дворян на польские планы Александра I. Ревность русских подданных царя к польским понятна, как понятна и их тревога по поводу вооружения и содержания казной вчерашних врагов. Когда в том же письме Закревский говорит, что один «Бог знает, какой конец у этого будет чрез несколько лет», то он не единственный, кто демонстрирует завидную проницательность: во время Польского восстания 1830—1831 гг. часть польских войск повернет оружие против России.

Популярность царя резко упала, совсем как после Тильзита. Но эта сплоченность русского дворянства в неприятии польской программы Александра показывает, насколько причудлива порой бывает «партитура» общественного мнения. В письме к Воронцову (сентябрь 1817 г.) Закревский осуждает намерение царя освободить крестьян, ввести конституцию не только в Польше, но и в России, то есть весь правительственный пакет грядущих преобразований, ставя в один ряд военные поселения, «вольность» и вооружение

поляков. А буквально в те же сентябрьские дни члены «Союза спасения», получив известие о том, что Литва будет включена в состав Царства Польского, составили «московский заговор» и всерьез обсуждали идею цареубийства. Будущие декабристы явно не принадлежали к тем, кого уважал Закревский, уже потому хотя бы, что «вольность» была целью их жизни. И тем не менее в отвержении «полонофильства» царя, равно как и системы военных поселений, Закревский и те, к кому он «имел уважение», сходились с «молодыми якобинцами».

В 1817 г., как и в 1811, «эхом русского народа» (подразумевая под последним дворянство) являлся голос Карамзина. Царь получил от него «Мнение русского гражданина». Еще в «Записке о древней и новой России» Карамзин категорично заявил: пусть говорят сколько угодно, что Россия незаконно «взяла Польшу», — «мы взяли свое». В «Мнении» этот тезис получил развитие. Если Екатерина II поступила незаконно, участвуя в разделах Польши, то Александр совершил бы еще большее беззаконие, вернув Польше отторгнутые от нее области, т.е. начав делить уже Россию. «Екатерина отвечает Богу, отвечает истории за свое дело; но оно сделано и для вас уже свято».

С обычной своей откровенностью Карамзин пишет: «Вас бы мы, русские, не извинили, если бы вы для их (поляков. — М.Д.) рукоплескания ввергнули нас в отчаяние... Ответствую вам головою за сие неминуемое действие целого восстановления Польши... Мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к царю; остыли бы душою и к отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола; ослабели бы не только уменьшением государства, но и духом». Да, продолжает он, и в этом случае возле царя остались бы приближенные, но эти министры и эти генералы думали бы не о пользе страны, а о собственной пользе, «как наемники, как истинные рабы». А царь, уверен Карамзин, «гнушается рабством и хочет дать нам свободу!»²

На «целое восстановление Польши» Александр не пошел.

Однако в марте 1818 г. на открытии Сейма в Варшаве он произнес свою знаменитую речь, в которой польская конституция объявлялась прологом российских вольностей. Речь эта наделала много шума. Небольшая часть общества, прежде всего декабристы (да и то не все), восприняла ее восторженно, хотя и не без обиды — почему в Польше раньше, чем в России? Подавляющая же часть дворянства расценила ее как объявление об освобождении крестьян, о котором давно уже ходили упорные слухи. Известное письмо Сперанского наглядно характеризует панические настроения пензенских помещиков. Не менее показателен и тот факт, что его бывший помощник Магницкий, ныне ловивший господст-

вующие веяния с обычной истеричностью неофита из ренегатов, тут же наказал восьмерых помещиков за жестокое обращение с крестьянами. Словом, растерянность, недовольство, перерастающее в раздражение, — такова реакция русских дворян на варшавскую программу царя.

Тем интереснее узнать мнение наших героев, к которым для полноты картины добавим краткие высказывания П.М. Волконского и князя А.С. Меншикова:

«Сегодня было открытие Сейма весьма великолепно и множество речей, хорошо говоренных» (Волконский — Закревскому, 15 марта, Варшава);

«Вчера Государь открыл Сейм речью прекрасною, в которой обещает и России благо представительного правления» (Меншиков — Закревскому, 16 марта, Варшава);

«Речь Государя, на Сейме говоренная, прекрасная, но последствия [для] России могут быть ужаснейшие, что из смысла оной легко усмотришь. Я не ожидал, чтобы он так скоро свои мысли по сему предмету объявил» (Закревский — Киселеву, 31 марта, Петербург);

«Речь царя для поляков есть чудесная, и здешние возмечтали много о будущем своем блаженстве; но у нас толки будут разные. Удивление же твое насчет откровенности я весьма разделяю, но к удивлению нам, кажется, уже не привыкать» (Киселев — Закревскому, 11 апреля, Тирасполь);

«Благодарю за прекрасную речь, говоренную новым Царства Польского подданным. Счастливы поляки толиким о них попечением, и гордость, сродная надменному сему народу, питается тем, что они впоследствии должны служить нам примером» (Ермэлов — Закревскому, получено 11 мая);

«Государь говорил великодушную и прекрасную речь в Варшаве...» (Воронцов — Закревскому, 4—16 июля, Мобеж)³.

О могучая дисциплина этикета! Разве может быть речь Государя менее чем прекрасной?

Однако какой богатый спектр эмоций вмещают одни и те же слова! Кажется, будто именно из этих строк получилось известное рифмованное правило о написании произносимых согласных — «не чудесно и прекрасно, а ужасно и опасно...»

На основании одного предложения трудно судить о мнении Волконского, можно отметить, пожалуй, легкую иронию, которая, однако, неясно к чему относится. Либеральная репутация князя А.С. Меншикова, в ту пору третьего лица в Главном штабе, позволяет предполагать, что он действительно считал представительное правление благом.

Сравнительно просто с Ермоловым и Закревским: здесь недвусмысленное осуждение.

В историографии есть мнение, что Киселев, называя речь царя «чудесной», был воодушевлен ею не меньше декабристов. В принципе так и должно было бы быть, ведь всего несколько месяцев назад Павел Дмитриевич подал царю проект облегчения положения крепостных крестьян. Вместе с тем данный отрывок написан достаточно сдержанно. Из текста явствует, что Киселев считает эту речь чудесной не вообще, а именно «для поляков». Такая интерпретация вполне допустима. Это подтверждает замечание о том, что «здесьние», т.е. поляки Юго-Запада, «много возмечтали о будущем своем блаженстве» — не самые доброжелательные слова. По крайней мере, этот фрагмент не дает оснований для выводов об особом воодушевлении Киселева. Впрочем, делать окончательное заключение на основании лишь этих строк едва ли корректно.

Весьма интересны слова Закревского о сюрпризе, который сделал Александр I, обнаружив свои взгляды, и не слишком оптимистичное заключение Киселева о привычке к сюрпризам, которую воспитывает царь у подданных. Они еще раз доказывают, насколько упрощенно, прямолинейно наше восприятие сложнейшей фигуры Александра, о котором почти в каждой книжке только и можно прочесть, что он был лжецом, лицемером, «надувал» всех вокруг, унаследовав это качество от «покойной бабушки». Либеральные настроения его в тот период Киселеву и Закревскому были известны лучше других: генерал- и флигель-адъютант императора могли черпать информацию не из столичных сплетен, а из первоисточника.

Наконец, мнение Воронцова определенно противоположно точке зрения Ермолова и Закревского. На наш взгляд, ключевое слово — «великодушная» — нужно понимать в двух смыслах. Во-первых, великодушие к побежденным полякам, за которым стоит понимание того, что история дала поводы обижаться друг на друга и русским, и полякам и что, видимо, правильнее забыть об этом.

Для того чтобы понять второй аспект этого определения, нужно оценить контекст, в котором оно прозвучало. Воронцов пишет, что вернувшийся из России Казначеев, один из его ближайших сотрудников, рассказал, как некий епископ спросил у него: «Правда ли, что весь корпус здесь (т.е. во Франции. — М.Д.) совершенно избалован и испорчен?» Воронцов заключает: «Ежели такая слава идет в епархиях, то каково же должно быть при дворе и в мудрых наших дворянских собраниях, в коих, как слышно, уверяют, что крестьяне их бушуют, потому что Государь говорил великодушную и прекрасную речь в Варшаве»⁴. Другими словами, те самые «мудрецы» при дворе и в провинции, которые считают его чуть ли не якобинцем за то, что он посмел увидеть в солдате человека, а не «механизм, артикулом предусмотренный», набросились на царя, осмелившегося заговорить о том, что Россия

должна, наконец, стать цивилизованной страной. Ибо, повторим, речь в Варшаве была воспринята как объявление о грядущем освобождении крестьян. И если Ермолов и Закревский в ужасе от этого, то Воронцова такая перспектива, напротив, радует.

О ВРЕДЕ МОДНЫХ МЫСЛЕЙ

«Печатаемые ниже письма Алексея Петровича Ермолова попали к нам случайно. Они были занесены в Дагестанский Музей неизвестным гражданином и уступлены за незначительную плату. Ничего определенного о происхождении их гр-н сообщить не мог разве только, что сослался на Дербент, откуда якобы он вывез их».

В данном случае перед нами не очередная «рукопись, найденная в Сарагоссе», Дербенте или чемодане Максим Максимыча, а весьма интересная источниковедческая загадка. «Неизвестный гражданин» принес в Махачкалинский музей 14 писем Ермолова, из которых 12 адресованы Закревскому и по одному — императору и П.М. Волконскому. Весьма любопытно, что этих писем, датированных 1820 г.¹, нет в личном фонде Закревского, хранящемся в РГИА в Санкт-Петербурге, их не было уже в тот момент, когда в 1890-х годах князь Друцкой-Соколинский публиковал переписку своего тестя. Разгадать эту тайну еще предстоит. А пока — да здравствуют непритязательные неизвестные граждане, приносящие в музеи такие документы, равно как и музейные сотрудники, не только понимающие важность последних, но и покупающие их! Ибо письма эти более чем интересны, и некоторые выделяются даже на общем весьма высоком уровне эпистолярной культуры Алексея Петровича. Благодаря им мы знаем его реакцию на основные события бурного 1820 г.: возмущение Семеновского полка, революцию в Испании, восстание в Грузии и некоторые другие.

К числу этих других несомненно принадлежит план образования общества для освобождения крестьян (Н.М. Дружинин называет его «особым дворянским обществом для изыскания способов к уничтожению крепостного права»). Воронцов был одним из инициаторов его создания. Декабрист Н.И. Тургенев писал: «Два человека, выдающихся как по своему почетному положению, так и по образованию, граф Воронцов и князь Меншиков, приняли однажды решение начать дело освобождения, и начать его серьезно. Я настаиваю именно на последнем, ибо в этих вопросах не редкость видеть так называемых филантропов, которые походя говорят непрерывно об улучшении участи крепостных, о предоставлении им некоторых выгод, об ограничении власти господина, наконец, о пресечении злоупотреблений властью, которую имеет один человек, как помещик, над другим; все это

фразы, которые свидетельствуют или о наивности, или о злой воле тех, кто их расточает... И вот почему те два лица... начали с того, что объявили, что их цель состоит в полном освобождении². К Воронцову и Меншикову примкнули братья А.И. и Н.И. Тургеневы, князь П.А. Вяземский, граф С.С. Потоцкий и поначалу командир гвардии И.В. Васильчиков. Эти люди все вместе владели более чем 100 тыс. крепостных; только у Воронцова их было 30 тыс. (не считая приданого жены). Михаилу Семеновичу отводилась главная роль в представлении проекта императору.

Суть планов состояла в безвозмездной передаче крестьянам их усадеб, с тем чтобы об остальной земле они заключали добровольные договоры с помещиками, вплоть до создания института наследственной аренды. Крестьяне в отличие от помещика имели право отказаться от заключения контракта. Предполагалось установить и свободу перехода крестьян. Данный проект был одной из высших точек либерального движения в царствование Александра. Еще раз убеждаешься, насколько история не вписывается в ту примитивную схему, которая так долго господствовала в историографии: об освобождении крестьян думали не только декабристы, нередко вовсе не имевшие крепостных, но и люди из числа самых богатых в стране.

Чтобы понять реакцию Александра I на этот проект, нужно вернуться к первым послевоенным месяцам. Стремление царя освободить крестьян в России неоспоримо. Однако он, как впоследствии Николай I и Александр II (до поры), не хотел принуждать дворянство и ждал его инициативы в этом вопросе (знаменитые строки Пушкина о «рабстве, падшем по манию царя», неточны: с этим «манием», в отличие от других, было все в порядке). Поначалу казалось, что события развиваются в нужном императору направлении. Прибалтийские помещики выступили с ходатайством об освобождении своих крестьян без земли, которое и было проведено в 1816—1819 гг. Бюрократическая элита была встревожена. Н.М. Лонгинов писал в июне 1816 г. графу С.Р. Воронцову: «Выражения в этом указе выдают мысли и желания (царя. — М.Д.) касательно этого предмета. Слава Богу, что не вздумали напечатать его по-русски»^{3*}.

Показательна осторожность правительства, которое не хотело

* Указ был напечатан по-эстонски. Интересно продолжение мысли Лонгинова: «Стоит рассмотреть положение Эстляндии, чтоб видеть, что дворяне там пожертвуют немногим. Крестьянам в Эстляндии всегда будет мешать выселяться, с одной стороны, море, а с другой, и без того населенные губернии Империи, не считая выгод от портов и большой торговли, что будет их удерживать еще более, чтоб дать им пользоваться сбытом предметов своей промышленности. Большая часть русских губерний не имеют подобных поводов, и Бог весть, что с нами произойдет, если подобную меру захотят поощрять в остальной России».

раньше времени будоражить русских крестьян (по той же причине в 1785 г. не была утверждена Жалованная грамота государственным крестьянам).

Для царя особо ценным было то, что прибалтийские дворяне сами выступили за эмансипацию крестьян. Александр предпринял попытки подвигнуть на аналогичную инициативу малороссийских помещиков, но успехом они не увенчались. На рубеже 1817—1818 гг. он поручил Аракчееву и министру финансов графу Гурьеву составить планы освобождения крестьян в России. С.В. Мироненко считает 1818—1819 гг. кульминацией стремления царя решить крестьянский вопрос. Дворянство же, как можно судить хотя бы по приведенным высказываниям Закревского и Лонгинова, было весьма встревожено этими замыслами⁴. Как мы уже знаем, варшавская речь императора большинством правящего класса была воспринята однозначно. Впрочем, Лонгинов, как и Ермолов, оказался дальновиднее этого большинства: «Не разбирая ее (речь. — М.Д.), скажу только, что она произвела в обществе сильное впечатление. Нет ничего опаснее неопределенных слов, которые каждый истолковывает по-своему. Со временем эта тревога и опасения одних с надеждами и преувеличенными мечтами других могут иметь гибельные последствия. Слава Богу, пока все остается смутно и неопределенно»⁵. В свою очередь и царь был прекрасно осведомлен о настроениях подданных. И вот в этих-то условиях и возникло воронцовское общество.

Трудно согласиться с широко распространенным мнением о том, что проекты освобождения крестьян в то время отражали позицию дворян, которые перестраивали свое хозяйство на капиталистический лад. Спору нет, для людей, знакомых с политэкономией, могли иметь значение аргументы А. Смита о преимуществах вольного труда перед крепостным. В 1812 г. на конкурсе Вольного экономического общества победили работы, доказывавшие эту идею. Однако едва ли подобные теоретические соображения могли иметь решающее значение для тех, кто был хорошо знаком с сельским хозяйством: слишком велика была разница в уровне хозяйствования даже между двумя соседними имениями, не говоря уже о том, что условия ведения хозяйства в разных регионах всегда были различными. Для таких людей, как граф М.С. Воронцов, как, впрочем, и для будущих декабристов, гораздо большее значение имели доводы моральные, нравственно-этические. В мае 1820 г. Н.И. Тургенев писал брату Сергею: «На сих днях я был у гр[афа] Воронцова, и он мне чрезвычайно понравился и потому уже, что *понимает и чувствует* вещи так, как должно... Он мог бы быть начинщиком улучшения участи крестьян. И теперь главная надежда на него. К тому же с ним одним можно говорить здесь об этом так,

чтобы обе стороны понимали друг друга (курсив мой. — М.Д.). Что касается других, то их надобно еще толковать и доказывать, что рабство несправедливо и что крестьяне не могут вечно оставаться крепостными. А это толкование весьма трудно, часто даже остается без успеха»⁶.

Всякий, кто знаком с дневниками и письмами Н.И. Тургенева, хорошо знает, чего стоило получить от него такие комплименты, каким должен был быть человек, о котором он мог так говорить!

Александр I поначалу одобрил проект. Еще бы! Вот она, долгожданная инициатива великорусского дворянства! Однако вскоре царь переменял свое мнение. С.В. Мироненко полагает, что, «очевидно, это произошло вследствие почти единодушной отрицательной реакции, которую вызвал в Петербурге слух о подписке в пользу освобождения крепостных крестьян»⁷. Царь сказал, что «здесь никакого общества и комитета не нужно, а каждый из желающих пускай представит отдельно свое мнение и свой проект министру внутренних дел, тот рассмотрит его и, по возможности, даст ему надлежащий ход». Идея, таким образом, была похоронена. Но так или иначе, а Петербург был взбудоражен. Если братьев Тургеневых свет упрекал в том, что они ратуют за свободу крестьян из-за своей бедности, то Воронцова, по традиционному сценарию, — в желании приобрести дешевую популярность, стремлении удовлетворить свое честолюбие и т.п. Н.И. Тургенев писал С.И. Тургеневу: «Авось наши надежды не навсегда останутся в сем отношении одними надеждами!.. Но все доброе у нас так трудно в делах государственных! К тому же знатные люди, которые говорили прежде всего в пользу уничтожения рабства, увидев первый шаг к сему уничтожению, восстали против. Это доказывается отчасти и негодованием, которое все они оказывают теперь к графу В[оронцо]ву, осмелившемуся быть лучше и благороднее их»⁸.

В 1820 г., по-видимому, окончательно прояснилось отношение императора к Воронцову. Н.М. Лонгинов писал графу Семену Романовичу: «Государь не любит графа Михаила и, как я полагаю, никогда не полюбит. Человек, выдающийся из общего уровня, никогда не был у него в милости, а особенно если этот человек с твердыми началами, неуязвимый никакими оскорблениями, любимец солдат и в уважении у общества. Можно, право, подумать, что Государь начинает завидовать своему подданному, как только видит его достоинства... Крайний эгоизм, с его неизбежными спутниками в виде деспотизма и жестокости, судит не по одним действительным заслугам, но еще и по тому, приносятся ли они лицом, слепо боготворящим своего монарха и принижающим себя перед ним. Подобные монархи пользуются словом «отечество» только тогда, когда им нужно обольстить или

вызвать к себе доверие своих подданных. А в прочих случаях это слово режет им слух, возбуждает опасения как призывный клич народолюбцев, людей, возмущающихся против воли одного, если воля эта дурно направлена и ведет страну к гибели. Одно уже это слово «патриот» пугало; тогда как о началах (нравственных. — *М.Д.*) мало заботятся, если только это люди преданные монархии. Вот почему такая любовь к людям ничтожным, особенно к податливым немцам или к другим иностранцам, которые сходят за людей порядочных, между тем как они достойны одного презрения. Очень естественно, что подобная шайка людей, без всякого достоинства, без дарований и большею частью совсем необразованных, никогда ни к чему не стремится за пределы возможного и довольствуется наилегчайшим. Мы видим неграмотных солдат, постигающих ремесло капрала; это настоящая модная мания, тем пригодная, что занимает собой великое число людей и не дает им ни времени, ни средств относиться участливо к делам, в которые не желают постороннего вмешательства. Прибавить к этому каверзы общества и политики и получится картина так называемого военного двора, достойная Гогарта⁹. Трудно найти более тонкую и одновременно уничтожающую характеристику императора и его Системы, да еще данную царедворцем!

О неприязни к нему Александра Воронцов догадывался давно. А вот позиция его друзей, прежде всего Закревского, который по сути присоединился к его хулителям, явилась, можно думать, неприятным сюрпризом.

Именно в 1820 г., после возвращения Воронцова из Англии, куда он ездил после окончания своей миссии во Франции, началось его расхождение с Закревским и особенно с Ермоловым. Почему это произошло, до конца неясно. Возможно, охлаждение отношений с «братом Алексеем» наступило из-за «выпущенных в свет» по неосторожности Закревского язвительно-ревнивых отзывов Ермолова о Воронцове; возможно, Воронцов полагал, что и «Мазепа» (дружеское прозвище Закревского) их разделяет. Но, видимо, не будет ошибкой связать определенную переоценку Закревским Воронцова с участием последнего в упомянутом обществе. 31 мая 1820 г. Закревский в письме Киселеву бросил короткую фразу: «Его (Воронцова. — *М.Д.*) слава во время пребывания здесь помрачилась; он переменялся и совсем не тот, что был; видно, польская нация его преобразовала»¹⁰. На фоне прежних дружеских уверений в любви до гроба эта фраза звучит с категоричностью прямо гильотинной. «Помрачению» славы Воронцова несомненно способствовало его желание изменить участь крестьянства (любопытно и показательно, что для Закревского налицо и виновница перемен в поведении прославленного русского генерала — жена-полька!).

Письмо Закревского Ермолову о приезде Воронцова в Петербург было, как можно судить по ответу Ермолова, достаточно скептическим. Не преминул уколоть Воронцова и Ермолов. О проекте же он высказался вполне определенно: «Мысль о свободе крестьян, смею сказать, не впопад. Если она и по моде, но сообразить нужно, приличествуют ли обстоятельства и время. Подозрительно было бы суждение мое, если бы я был человек богатый, но я, хотя и ничего не теряю в таком случае, далек однако же, чтобы согласоваться с подобным намерением, и собою не умножил бы общества мудрых освободителей. Как вообразить, что нам все то приличествовать может, без чего другие существовать не в состоянии?.. Вред сих замыслов не состоит в самом предложении, но в примере, которому последовать могут многие неблагоприятные люди единственно по доверенности к мнению известного и отличного человека... Не думает ли брат Михайло сделать себе бессмертное имя? Ему надобно остерегаться, что[бы] не оставить по себе памяти беспорядком и неустройствами, которые необходимо будут следствием несогласованного с обстоятельствами переворота. Небольшое счастье быть записану в еженедельное издание иностранного журнала»¹¹.

Конечно, первая реакция — ай да, Алексей Петрович! Вот вам и надежда русского освободительного движения! Однако попытаемся разобраться в причинах бескорыстной неприязни Ермолова к освобождению крестьян. В принципе ответ ясен: у России свой путь («как вообразить, что нам все то приличествовать может», и т.д.), и «несогласованный с обстоятельствами» «переворот» приведет к новой пугачевщине. Вместе с тем важность проблемы требует более подробного анализа. Поэтому стоит вернуться к мнению Ермолова о варшавской речи Александра.

Вот что писал Ермолов: «Я думаю, судьба не доведет нас до унижения иметь поляков за образец и все останется при одних обещаниях всеобъемлющей перемены... У нас народ удобен рассуждать исключительно в свою пользу, которую весьма понимает, и по малому еще образованию не допускает совместность пользы другого состояния людей, а потому власть дворянства есть необходимая сила для удержания равновесия, и выгода правителя состоит в точном определении сей силы, ибо чрезмерность с той или другой стороны лишает его власти, ему приличествующей, и которая по свойству народа, по обширности земли, по многосложному составу разнообразных частей необходима в той степени, которая для всякого другого народа была бы излишним и тягостным.

Напрасно думают, что дворянство в России много потеряет от перемены: оно сыщет способ извлечь пользу из своего положения по мере той надобности, которую имеет простой народ, не в состоянии будучи найти в себе самом все способы заменить его по непросвещению своему, а потеряют одни правители, лишась

дворянства яко подпоры, ибо оное, соединя близко свои выгоды с народом, найдет пользу быть с его стороны, и в руках правителя останется одна власть истребления, то есть силою оружия заставлять покорствовать народ своей воле, когда законы запрещают раболепствовать пред нею! Вот мои мысли, и я очень верю, что при жизни моей не последует никакой перемены, то есть Государь при жизни своей оной не пожелает»¹².

Итак, Ермолов категорически против возможных преобразований, под которыми он понимает и уменьшение самовластиа царя в том или ином виде, и освобождение крестьян (что же другое может разорвать узы, связывающие помещиков и царя?). Почему? Нарисованная им картина «равновесия сословий», осью которого выступает *неограниченное самодержавие*, не допускает ни малейших изменений. Другими словами, «самодержавие — палладиум России». Власть дворян над крестьянами, по Ермолову, — это социальный симбиоз. Нарушение статус-кво повредит не только царю, не только помещикам, но и крестьянам, которые не понимают, что крепостничество полезно и для них. В основе такой позиции Ермолова — убежденность в самобытности исторического пути России.

Взгляды Ермолова, весьма обычные для того времени, несут **явный** отпечаток просвещенческой теории «равновесия сословий», «классового мира» как основного условия нормального функционирования государства. При этом главной задачей верховной власти является поддержание равновесия между сословиями*. Во взгляде на дворянство как «необходимую силу для удержания равновесия» — отзвук концепции дворянства Монтескье, считавшего, что дворяне — необходимые посредники между монархом и народом и что дворянство сдерживает перерождение монархии в деспотию**. Особенность России заключается в том, что специфика ее исторического развития требовала очень сильной центральной власти, причем настолько сильной, что для любого

* «Государство счастливо, а его государь силен, лишь когда все сословия в государстве помогают друг другу. Ради столь благотворного результата руководители политического общества должны быть заинтересованы в поддержании справедливого равновесия между разными классами граждан и препятствовать посягательству одного из них на права других. Любая слишком большая власть, отданная в руки нескольких членов общества, наносит ущерб безопасности и благополучию всех. Страсти людей все время сталкивают их между собой, и такие конфликты... вредят государству, если верховная власть пренебрегает поддержанием равновесия, мешающего одной силе увлечь за собой все другие» (цит. по: История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. Л., 1978. С. 101).

** В монархии «власть дворянства является наиболее естественной промежуточной и подчиненной властью. Отмените его права и вы тотчас получите либо народное государство, либо деспотическое... Необходимо, чтобы законы монархии поддерживали дворянство... не для того, чтобы ставить преграду между властью государя и слабостью народа, но с целью их связи» (там же. С. 215).

другого народа она была излишней и тягостной. Заметим, что, несмотря на это, Ермолов действительно считал Россию монархией, а не деспотией: «Законы запрещают раболепствовать» перед Властью. И значит, в этой части «Записки о посольстве в Персию» он искренен.

Еще раз повторим, что утверждения Ермолова об особом, самобытном пути развития России, неграмотном народе, который в образовании нуждается больше, чем в свободе, не оригинальны. В целом же его заочный спор с царем в 1818 г. и с Воронцовым в 1820 г. заставляет вспомнить знаменитый (и тоже заочный) спор Карамзина и Сперанского накануне Отечественной войны 1812 г. Понятно, что эту аналогию можно оспорить: слишком разнятся объекты сопоставления. Тем не менее именно в силу типичности взглядов Ермолова и Закревского (а то, что они единомышленники, сомнению не подлежит) такое сравнение допустимо. Это мы и постараемся доказать, ибо без возвращения к полемике Карамзина и Сперанского нам будет трудно до конца понять, каким видели мир наши герои.

НУЖНЫ ЛИ РОССИИ РЕФОРМЫ?

При ответе на этот вопрос очень важную роль играла и будет играть проблема самобытности исторического развития России. Мы не имеем возможности сколько-нибудь подробно проследить генезис этой идеи и, отсылая читателя к соответствующей литературе¹, ограничимся краткими замечаниями.

Как известно, в начале XVIII в. восприятие Запада русскими людьми во многом пересматривалось. Усвоение опыта Европы стало насущной задачей, впервые была признана культурная и технико-экономическая отсталость России. Концепция «Москва — третий Рим» была как будто навсегда забыта. Акцент делался на сходстве судеб России и Запада, характеров русских и европейцев².

Эта линия в историографии развивалась и во второй половине XVIII в., что в немалой степени диктовалось необходимостью защитить национальное достоинство России и русских от нападок со стороны некоторых западных писателей. Особую остроту приобрел вопрос о типе российского государства. Монтескье безоговорочно относил Россию к деспотическим странам и был в этом не одинок. Конечно, большинство русских дворян и не подозревало о существовании Монтескье, но дворянскую интеллигенцию гораздо больше устраивала, например, позиция Вольтера, который даже Турцию не считал за деспотию, не говоря уже о России. Самодержавие, отличия которого от идеальной западной монархии были очевидны для всех, еще со времен Татищева рассматривалось как обусловленная особенностями России (в первую очередь ее огромной территорией) форма

монархии, но никоим образом не деспотии. Екатерина II, в частности, писала: «Российская империя есть столь обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочие медлительнее в исполнениях». Напомним, что и Монтескье полагал, что чем больше территория страны, тем сильнее должна быть власть правительства; республика — подходящая форма государства для небольших стран.

С воцарением Екатерины II, усиленно добивавшейся признания себя просвещенной государыней (а следовательно, и России — монархией), на философско-дипломатическом фронте были достигнуты определенные успехи. Это вполне устраивало большинство тех дворян, для которых факт, что Россия не есть деспотия, был важным компонентом хорошего политического «самочувствия»; в их глазах данный тезис нисколько не противоречил идее самобытности России.

Не меньшее значение имела проблема крепостничества. Для европейцев крепостное право было одним из решающих аргументов в пользу отнесения России к деспотиям. В распоряжении отечественной историографии оказался лишь один способ защиты — крепостничество наряду с самодержавием было объявлено национальным достоянием, в котором иностранцы в силу незнания русской специфики понять ничего не могли*, и включено в общую социологическую схему, не препятствуя, таким образом, классифицировать Россию как монархию. В определенном смысле крепостничество становилось таким же «палладиумом России», как само самодержавие, — второе оказывалось невозможным без первого.

Дворянской интеллигенцией была прочно усвоена мысль Монтескье, сформулированная в «Наказе» Екатерины II так: «Законоположения должно применять к народному умствованию». Правительство официально заявило, что законы должны соответствовать исторически сложившимся нравам народа, и это соответствие необходимо соблюдать на каждом этапе развития не только России, но и любой страны вообще (заметим, что идея по форме вполне либеральная). Отсюда естественно вытекала необходимость подготовки умов к изменению законодательства, своеобразной расчистки почвы для такой перемены. Главную роль в этом процессе должны были играть добрые примеры, воспитание,

* И.Н. Болтин писал: «О России судить, применяя к другим государствам, есть то же, что шить из рослого человека платье по мерке, снятой с карлы. Государства европейские во многих чертах довольно сходны между собою; зная о половине Европы, можно судить о другой, применяя к первой, и ошибки во всеобщих чертах будет немного; но о России судить таким образом не можно, понеже она ни в чем на них не похожа, а особливо в рассуждении физических местоположений ее пределов» (И. Болтин. Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным. [Б.м.] 1788. Т. II. С. 152—153).

словом, постепенная и довольно продолжительная работа. Через призму этой идеи оценивались все возможные преобразования в стране и до, и тем более после революции во Франции.

Великая французская революция и весь последующий ход истории Европы изменили ракурс рассмотрения проблемы «Россия и Запад». Показателен путь, проделанный Карамзиным от «Писем русского путешественника», где он писал, что «путь образования или просвещения *один* для народов; все они идут им вслед друг за другом. Иностранцы были умнее русских: итак, надлежало от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытами. Благоразумно ли искать, что сыскано?.. Какой народ не перенимал от другого? И не должно ли сравняться, чтобы превзойти?»³, до «Записки о древней и новой России», в которой Россия противопоставлялась Западу. «В национально-неповторимых чертах отечественной истории, но не в явлениях универсальных, общих для всего человечества, дворянская историография стала искать средства идеологического и исторического обоснования неизблемости существующего порядка вещей»⁴. Это не только не поколебало, но, напротив, укрепило убежденность в том, что Россия — страна европейская и что самодержавие — особая, чисто российская, форма монархии.

Но так думали не все. И когда Сперанский заявил, что Россия вовсе не монархия, а самая обыкновенная деспотия, то у него был по крайней мере один благодарный слушатель — Александр I. Сперанский считал, что в стране существуют только два сословия — «рабы верховной власти и рабы землевладельцев» (т.е. помещики и крестьяне), что «первые свободны только относительно последних; в действительности в России нет свободных людей, кроме нищих и философов», что собственность и личность в реальной жизни не ограждены от произвола представителей власти всех уровней, что законности в России нет и в помине, и делал совершенно правильный вывод: все это чревато ужасными последствиями для престола, народа и страны в целом.

Историческое введение к проекту Сперанского достаточно краткое и может сначала впечатлить куда меньше, чем таковое же у его оппонента Карамзина. Это и понятно. У первого главный аргумент — сухие факты всемирной истории, у второго — блестящий пафос профессионала. Сперанский, полагая, что в России европейского все же больше, чем азиатского, уверен, что общее движение от рабства к свободе, начавшееся в Англии, Швейцарии, Соединенных Штатах, Франции, Голландии и в других странах Европы, движение, закономерность которого не вызывает у него сомнения, *неминуемо* дойдет до России. В этом движении, продолжает Сперанский, «время и состояние гражданского образования были главным действующим началом. Тщетно власть державная силилась удержать его напряжение; сопротивление ее

воспалило только страсти, произвело волнения, но не остановило перелома. Сколько бедствий, сколько крови можно было бы сберечь, если бы правители держав, точнее наблюдая движение общественного духа, сообразовались ему в началах политических систем и не народ приспособляли к правлению, но правление к состоянию народа (какое, впрочем, противоречие: желать наук, коммерции и промышленности и не допускать самых естественных их последствий; желать, чтобы разум был свободен, а воля в цепях... Нет в истории примера, чтобы народ просвещенный и коммерческий мог долго в рабстве оставаться)»⁵.

Сперанский убежден, что Россия готова к преобразованиям, разумеется, постепенным, осторожным, но все-таки ведущим туда, куда идут все народы. К тому же в сравнении с другими странами она находится, считает Сперанский, в положении более выгодном, ибо может воспользоваться их опытом, не повторять тех ошибок, которые, в частности, привели на эшафот не одного монарха, ибо «российская конституция одолжена будет бытием своим не воспалению страстей, но благодетельному вдохновению верховной власти»⁶. России нужны перемены, никакие полумеры тут не помогут: «Все исправления частные, все, так сказать, пристройки к настоящей системе были бы весьма непрочны. Пусть составят какое угодно министерство, распорядят иначе части, усилят и просветят полицейские и финансовые установления, пусть издадут даже гражданские законы: все сии введения, быв основаны единственно на личных качествах исполнителей, ни силы, ни твердости иметь не могут»⁷. Какие глубокие, какие верные слова и как современно они звучат! Увы, их актуальность для того времени была не столь очевидна.

«Отвечал» Сперанскому Карамзин.

Он не только не пытался оспаривать его мысли о самодержавии, об отсутствии в стране твердых законов, о рабстве крестьян, о несовершенстве системы управления, но и объявил часть из них не пороком, а достоинством существующего «порядка вещей», а другие — крепостничество, например, — если и недостатком, то терпимым и, более того, необходимым для сохранения статус-кво.

Что стоит за знаменитыми словами «самодержавие — палладиум России», т.е. то, без чего она не может существовать? Его опыт историка, показывающий, что абсолютизм реже превращается в тиранию, чем другие государственные системы. В «Историческом похвальном слове Екатерине» он писал: «Что же другое представляет нам история республик? Видим ли на сем бурном море хоть единый мирный и счастливый остров? Мое сердце не менее других воспламеняется добродетелью великих республиканцев; но сколь кратковременны блестящие эпохи ее? Сколь часто именем свободы пользовалось тиранство и велико-

душных друзей ее заключало в узы?» А разве не о том же говорила история Европы 1789—1815 гг.?

Относительно России Карамзин повторил старый тезис о том, что такая большая страна должна управляться только самодержавным монархом. Как иначе может сохраниться ее целостность и как будет поддерживаться порядок в ней? Карамзин не ограничивается чисто теоретическими соображениями: доказательству своих мыслей он подчиняет исторический обзор. Всякое ослабление самодержавия в России обязательно приводило либо к анархии, либо усиливало аристократию, создавало олигархию, что было гораздо худшим вариантом. Именно худшим, ибо Карамзин ни в коем случае не закрывает глаза на то, что самодержавие не чуждо «примесов тиранства».

Другими словами, он считает, что истинное самодержавие так же далеко от тирании, как и от республики. В том же «Похвальном слове» Карамзин приводит статью из «Наказа»: «Предмет самодержавия не то, чтобы отнять у людей свободу, но чтобы действия их направить к величайшему благу».

Показательно в этом отношении его мнение о Павле I: он сделал в отношении самодержавия то же, что якобинцы в отношении республики: «заставил ненавидеть злоупотребления оною».

И вполне естественным выглядит многократно осмеянное как апофеоз политической наивности обращение к монарху, заключающее в себе едва ли не главное, по Карамзину, «целительное средство»: «Да царствует благодетельно! Да приучит подданных ко благу! Тогда родятся обычаи спасительные, которые лучше всех бранных форм удержат будущих Государей в пределах законной власти»⁸. Ибо для Карамзина этика, нравственность, совесть монарха — и не только монарха — понятия не абстрактные, они лежат в основе его взгляда на историю вообще.

Как только монарх перестает соблюдать этические нормы, т.е. нарушает принцип справедливости, он превращается в тирана. А что бывает в России с тиранами, это и Карамзин, и его читатель — Александр I знали хорошо. Отсюда опять-таки кажущийся наивным тезис о страхе «возбудить всеобщую ненависть» как факторе, препятствующем перерождению монарха в деспота: «Тиран может иногда безопасно господствовать после тирана, но после Государя мудрого — никогда»⁹. У Карамзина получается своеобразная картина деспотии наоборот: там нет «кроткого правления», там боятся все — и деспот, и его народ, и все страдают, а здесь — тоже словно бы боятся, но от страха делают добрые дела. То есть добродетельное царствование оказывается как бы взаимовыгодным предприятием: царя не убивают, а подданные живут хорошо и покойно. «Заговоры да устрашают народ для спокойствия Государей! Да устрашают и Государей для спокойствия народов!»¹⁰ Почему заговоры должны устрашать

народ? Потому что они могут привести к анархии, безначалию, а это хуже любой тирании: погибнуть может любой, а тиран убивает все-таки не всех.

Отсюда понятно, почему, отвергая попытки поставить закон над монархом, Карамзин в известном разговоре мадам де Сталь с Александром I принял бы сторону первой, согласившись, что совесть монарха — лучшая конституция, и отвергнув «конституционный» подтекст ответа царя, сказавшего, что его характер — счастливая случайность.

Отсюда и предлагаемые им «лекарства», которые, впрочем, никак не могут считаться положительной программой, да и вообще программой. Во-первых, «искать людей», что в данный момент всего нужнее. «Излишнее уважение форм» власти, по мнению Карамзина, не дает реального результата. Неважно, как называется должность, важно, насколько умен и честен человек, ее занимающий. Будет он хорош — будет и порядок, а окажется плохим — не спасут никакие «уставы». «Дела пойдут в России как надо, если вы найдете в России 50 мужей умных, добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона россиян, обуздают хищное корыстолюбие нижних чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят купечество и промышленность, сохраняют пользу казны и народа»¹¹. Мы уж знаем, что и наши герои исповедовали принцип «каждый на своем месте» и придавали ему большое значение в деле улучшения положения в стране.

Во-вторых, страх с эпитетом «спасительный» (сравни: «благодетельная строгость» Ермолова). «Мудрое правление находит способ усиливать в чиновниках побуждение добра или обуздывать стремление ко злу. Для первого есть награды, отличия, для второго — боязнь наказаний. Кто знает человеческое сердце, тот не усумнится в истине сказанного Макиавелем, что страх гораздо действительнее, гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных... Сколько агнцев обратилось бы в тигров, если бы не было страха!.. Строгость, без сомнения, неприятна для сердца чувствительного, но где она необходима для порядка, там кротость не уместна»¹².

И, наконец, Карамзин произносит воистину знаменательные слова: «В России Государь есть живой закон; добрых милует, злых казнит... Наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства судит и наказывает детей без протокола, так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести».

Под этим с легким сердцем подписалось бы большинство русских дворян того времени, в том числе Ермолов, Закревский, возможно, Сабанеев. Ибо патернализм — одна из характернейших

черт мышления правящего класса в России во все, увы, времена. Хуже того, к нему с пониманием относятся и неправящие классы.

Предложения Карамзина еще в XIX в. вызывали усмешку у исследователей, и их вполне можно понять. Нам, в конце XX в., эти меры тоже кажутся верхом простодушия и «царистско-губернаторских» иллюзий. Как все знакомо: «усилить борьбу», «в целях дальнейшего совершенствования», сменить министра, председателя и т.д. Но, возможно, впечатление о наивности Карамзина несколько изменится, если мы примем во внимание следующее обстоятельство, весьма, на наш взгляд, важное для понимания его мировоззрения в целом.

Реформаторы чаще всего полагают, что несовершенство мира можно исправить, проведя те или иные разумные реформы (разумные с точки зрения общечеловеческих идеалов). Для Карамзина же несовершенство мира — его априорное свойство. Он прекрасно понимает (в отличие, например, от Л.Н. Толстого периода работы над «Войной и миром»), какая это мощная *движущая* (именно так!) сила истории — сила социальной *инерции*, сила привычки, «порядок вещей». Эта сила первой вступает в бой с любыми «новостями», с преобразованиями, и от этого столкновения и получаются те непредсказуемые последствия, к которым ведут реформы, те ужасы, видеть которые в России Карамзин решительно не желает. Он потому и советует примириться с этим несовершенством, что знает: ничего идеального в мире нет, в нем «мало агнцов, мало и злодеев, а больше смеси, т.е. добрых и худых вместе». Это относится не только к людям, но и к жизни вообще, и к социальным системам в частности. Никогда не будет совершенного во всем и всех удовлетворяющего социального устройства. Нетрудно видеть, что и этот тезис разделяли Ермолов и другие наши герои (хотя и не до конца). Вспомним хотя бы твердую уверенность Ермолова в том, что «плутни и воровство истребить нельзя».

Поэтому Карамзин убежден, что нужно приводить в порядок то, что есть (а резервы здесь немалые), а не строить что-то новое. Разве можно менять привычный уклад в стране, где более девяноста человек из ста неграмотны, ленивы, склонны к пьянству, так что от окончательного падения их спасает только забота их хозяев? Разве можно менять государственную систему в стране, где чиновники в массе своей продажны и корыстны и где нельзя найти пятьдесят честных губернаторов? Разве от введения новых «уставов» они станут другими? Конечно, нет, говорит Карамзин. Надо сначала улучшить нравы, а потом уж думать о реформах.

Характерно, что Сперанский отнюдь не оспаривал российской специфики в широком смысле и вовсе ею не пренебрегал. В некоторых важных моментах их с Карамзиным позиции близки. Так, и Сперанский, и Карамзин согласны, что Россия — не Запад,

что в соответствии с ее территорией и нравами народа власть царя должна быть большей, чем в других государствах Европы, что самодержавие в строгом смысле — не монархия, что законов в России нет, а есть указы (хотя Карамзин, несколько противореча сам себе, утверждает, что и указы — это законы), что государь должен быть добрым, что нужно время для исправления нравов, что поспешность в реформах вредна и что перемены допустимы лишь в случае крайней необходимости.

Однако из этого следовали совершенно разные выводы: Карамзин настаивал на сохранении самодержавия, а Сперанский хотел его реформации. Французская революция навела часть мыслящих русских людей (хотя и немногих) на совсем другие мысли, нежели Карамзина и иже с ним.

Пыпин был совершенно прав, когда писал, что Карамзин привел «все возражения, какие можно было сделать против ...такого установления конституционных учреждений, о каком тогда думали. Эти возражения очень сильны и для тогдашних отношений справедливо указывали если не на возможность, то чрезвычайную затруднительность предприятия. Но мысль, отчасти верная для данной минуты, заключала в себе ту всегдашнюю ошибку фанатического консерватизма, что Карамзин решал за будущее»¹³.

СЛЕПОЙ НА СКАЛЕ

Позиция Карамзина не будет понятна до конца без его оценки крестьянского вопроса.

Напомним слова Ермолова: «У нас народ удобен рассуждать исключительно в свою пользу, которую весьма понимает и по малому еще образованию не допускает совместность польз другого состояния людей, а потому власть дворянства есть необходимая сила для удержания равновесия, и выгода правителя состоит в точном определении сей силы, ибо чрезмерность с той или другой стороны лишает его власти, ему приличествующей...» Царь, дворянство и крестьяне образуют своего рода равнобедренный социальный треугольник, где положение каждой силы-вершины зависит от двух других, и потому-то только и существует эта структура. Малейшее изменение чревато ее разрушением. Важно, что правитель как бы отстранен и от тех, и от других, ему опасно чрезмерное усиление влияния не только крестьян, но и дворян. То есть царь рассматривается как сила надклассовая — он и связующее звено, и посредник одновременно. Эта точка зрения была весьма распространена среди дворянской интеллигенции того времени. Кстати, так же оценивали роль императора и сами крестьяне: для них он был единственной силой, способной защитить их от произвола помещиков.

Иначе говоря, крепостничество, наряду с самодержавием, являлось «палладиумом».

Далее. Что стоит за примечательными словами о «совместности польз другого состояния людей», которую не понимают необразованные покуда крестьяне? Неужели Алексей Петрович всерьез думал, что крепостничество полезно крестьянам? Или же это искреннее заблуждение большого ума?

Почти за сто лет до попытки образования «Общества для освобождения крестьян» В.Н. Татищев писал, что вольность крестьян и холопей нужна и полезна в других государствах, однако в России она «с нашею формою монархического правления не согласует и вкоренившийся обычай неволи переменить не безопасно»¹. Другой видный историк XVIII в. И.Н. Болтин, ставя вопрос: «Во всяком ли состоянии, во всякое ли время и всякому ли народу одинакая приличествует свобода, или по различению оных с некоторым исключением, изъятием, с некоторыми условиями, предписаниями, правилами?» — решал проблему просто: «Земледельцы наши прусской вольности не снесут, германская не сделает их состояния лучшим, с французской помрут они с голода, а английская низвергнет их в пучину погибели». Характерно, что и вопрос о том, является ли крепостничество злом, Болтиным, как и другими его единомышленниками, не выяснен: «Правда, что состояние помещичьих крестьян не всех есть равное, некоторые из них по жестокосердию и нечувствительности господ их обременены оброками и работами тяжкими и едва сносными; но большая часть из сих живут в довольстве и покое, следовательно, и не признают состояния своего несносным»². Освобождение крестьян Болтин относил на отдаленное время, когда крестьяне «созреют» для свободы.

В 1785 г. князь Щербатов написал замечательное сочинение с красноречивым заглавием «Размышления о неудобствах в России дать свободу крестьянам и служителям или сделать собственность имений». Основные положения автора сводились к тому, что и безземельное освобождение крестьян, и наделение их землей на права собственности было вредно для самих же крестьян. В первом случае их разоряли бы помещики, а во втором — началось бы имущественное расслоение, и тогда немногие обогатились бы за счет многих. Вообще же русский народ ленив, пьян и недостойн ни земли, ни вольности³.

В этих «Размышлениях» проявляется изумительно стойкая во времени черта мышления российских правящих классов — стремление соблюсти равенство среди подчиненных и подвластных, причем равенство в лучшем случае несытое. Это та самая забота о слабых, которая на деле оборачивалась борьбой с «сильными», толковыми, деятельными. Им постоянно создавали препятствия, их ум, смекалка, инициатива тушились и т.д. Т.к. веками у народа отбивалась охота к деятельности, так сковывались его

силы, так равнодушные и апатия въедались в его кровь. Кстати, упомянутые Щербатовым затруднения легко решились в 1861 г., когда крестьянам дали землю, сохранив при этом общину. Это был новый и последний виток пресловутой «заботы о слабых».

Нельзя не вспомнить и известный разговор княгини Е.Р. Дашковой с Дидро на ту же тему, явно носивший программный характер. Дашкова сказала, что установила в своем орловском поместье управление, сделавшее крестьян «счастливыми и богатыми» и притом ограждавшее «их от ограбления и притеснений мелких чиновников». Богатство помещиков прямо зависит от крестьян, считала Дашкова, а потому «надо быть сумасшедшим, чтобы самому иссушить источник собственных доходов». Помещики — посредники «между крестьянами и казной», они кровно заинтересованы в ограждении их от корыстолюбия представителей власти⁴.

Дидро заметил, что если бы крестьяне были свободны, то «они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче». Дашкова отвечала, что освобождение крестьян станет возможным лишь тогда, когда русские дворяне будут освобождены от «воли самодержавных государей». При таком условии она «хоть бы своей кровью подписалась под этой мерой». Однако, на ее взгляд, Дидро путает следствия с причинами: «Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления».

На замечание Дидро, что она его не убедила, Екатерина Романовна заявила, что даже и в нынешнее царствование есть средства борьбы с жестокостью помещиков — изъятие у них крестьян, учреждение дворянской опеки над имениями. Крепостного она сравнила со слепорожденным, помещенным на крутую скалу, окруженную пропастью. «Лишенный зрения, он не знал опасностей своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда сам пел вместе с ними». Но появился врач, который вернул ему зрение, однако не смог снять его со скалы: «Наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен; не спит, не ест и не поет больше; его пугают окружающие его пропасть и доселе неведомые ему волны; в конце концов он умирает в цвете лет от страха и отчаяния».

После этих слов, сообщает она, Дидро, вскочив со стула, назвал ее «удивительной женщиной» и сказал, что она «переворачивает вверх дном идеи», которые он «питал и которыми дорожил целых двадцать лет»⁵.

Разумеется, перевернуть какие-либо идеи «вверх дном» еще не значит доказать, что именно в таком положении они больше

соответствуют истине, однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы получить изысканный комплимент от одного из умнейших в мире людей. Во всяком случае позиция родной тетки М.С. Воронцова в комментариях не нуждается.

Карамзин в «Записке о древней и новой России» во многом повторяет доводы Дашковой и других своих предшественников. Освобождение крестьян означает, по его мнению, что они получат свободу передвижения, но не получат земли, так как она принадлежит дворянам. Положение их безусловно ухудшится, потому что если раньше помещики относились к ним терпимо, «щадяли... свою собственность», то теперь «корыстолюбивые владельцы» сделают все, чтобы разорить крестьян, выжать из них все, что можно. Карамзин уверен, что крестьяне «благоразумного помещика», который умерен в своих требованиях, живут лучше, чем казенные, ибо барин для них «попечитель и заступник». А будет ли им лучше, если вместо такой покойной доли они падут жертвой своих пороков (в априорной порочности крестьян Карамзин не сомневается), а заодно и «откупщиков и судей бессовестных». Проще, считает он, обуздать жестоких помещиков: они известны всем. Кроме прочего, от освобождения может пострадать и казна⁶.

Однако главный его аргумент — угроза новой пугачевщины. Если сейчас, полагает он, помещная полиция, господский надзор держат крестьян в рамках, что полезно как для них самих, так и для помещиков и государства, то с исчезновением этой опеки крестьяне непременно «станут пьянствовать, злодействовать: какая богатая жатва для кабаков и мздоимных исправников, но как худо для нравов и государственной безопасности! Одним словом, теперь дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства: отняв у них сию власть блюстительную, он, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена... Удержит ли? Падение страшно». И, наконец, заключение: «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу... но знаю, что теперь им неудобно возратить оную. Тогда они имели навык людей вольных, ныне имеют навык рабов; мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, к которой надобно готовить человека исправлением нравственным»⁷.

Таким образом, все основные постулаты в пользу сохранения крепостничества, все главные положения крестьянской «теории» были сформулированы русским дворянством еще в XVIII в. Удивительное единообразие аргументации, которое мы обнаруживаем в рассуждениях Щербатова, Дашковой, Карамзина и даже того же Ермолова, показывает, насколько распространены были эти мнения. Это та стадия функционирования концепции, когда мудро уже изобрести что-либо новое и на долю теоретика остаются архитектурные излишества.

Итак, есть добрые, точнее, «благоразумные» господа, у которых крестьяне живут совсем не плохо, и польза от этого обеим сторонам. Плохих же помещиков нужно наказывать. Но освобождать крестьян нельзя, ибо они рабы по духу, а стать свободным может лишь просвещенный, «исправленный нравственно» человек. «Записку о древней и новой России» в этой ее части критиковали всегда особенно остроумно и не без оснований — в ряде случаев у Карамзина действительно не все в порядке с формальной логикой. Однако нас больше интересует, насколько умозрительна была такая система аргументации.

Мы так привыкли к мысли, что помещики и крестьяне — враги всегда, везде и при любых обстоятельствах, что слова Фирса из «Вишневого сада» о воле как несчастье кажутся непонятными, странными, а сообщения о помещиках, строивших школы в имениях и кормивших крестьян в голодные годы, представляются поэтическим преувеличением, хотя по закону помещики были обязаны кормить голодных в неурожайные годы и не допускать крестьян до нищенства (впрочем, это была единственная узаконенная их обязанность по отношению к своей «крещеной собственности»). А пресловутая некрасовская «цепь», ударившая «одним концом по барину, другим по мужику»?

В чем причина глубокой убежденности Болтина, Дашковой, Карамзина и других, далеко не худших людей того времени, в том, что положение крепостных вовсе не так скверно, как это полагают иностранцы, ничего не понимающие в России, и доморощенные «либералисты»? Уже говорилось о том, как возмутился Александр I, увидев в шишковском манифесте слова об «обоюдной пользе» совместного существования помещиков и крестьян; сам Шишков сетовал на злосчастное предубеждение царя против крепостничества. Нам, хорошо представляющим ужасы крепостного права, взгляд Дашковой и Карамзина кажется просто кощунственным. С другой стороны, трудно сомневаться в их искренности. Конечно, многое можно отнести на счет обыкновенной аберрации исторического сознания, которая была свойственна людям во все времена, причем не только тем, которые придерживаются принципа: «Я этого не вижу (или не хочу видеть), следовательно, этого нет». Буколическое мнение Дашковой о ее орловском имении — аргумент спорный. Пьер Безухов, как известно, тоже считал, что устроил счастье своих крестьян; разумеется, Л.Н. Толстой «приказал» ему так думать неспроста.

В 1802 г. Карамзин опубликовал «Письмо сельского жителя». Сюжет его вкратце таков. Некто под влиянием человеколюбивых сочинений решил осчастливить своих крестьян. Они получили землю за скромный оброк, сами избрали старшину, притом барин обещал защищать их от произвола властей. Когда же после долгого отсутствия филантроп вернулся в имение, он увидел пьяных нищих, в которых с трудом признал своих крестьян. Они

растолковали ему, что его отец всегда жил с ними и «соблюдал» не только свои поля, но и их. А свобода, которую он им даровал, оказалась свободой ничего не делать. Лентяи стали отдавать свои наделы по дешевке и пить. Тогда герой решил последовать примеру отца, возобновил барщину, «сделался самым усердным экономом» и т.д. Результаты не замедлили сказаться: крестьяне начали богатеть, перестали голодать, и, разумеется, были чрезвычайно благодарны герою. Такой прекрасный итог дал «путешественнику» повод для обобщений. Иностранцы утверждают, что крестьяне мало и плохо работают, потому что господа забирают все плоды их труда. Но это — теория, оторванная от российской почвы, ибо кто же станет отнимать у своих крестьян хлеб и скот? Только враг самому себе. Все успехи в сельском хозяйстве — исключительно результат барской заботы. Ведь у некрепостных поля обработаны хуже, чем у крепостных. Поэтому хорошие хозяева совершенно необходимы для благоденствия крестьян. Автор и сам в заботах о крестьянах находит источник едва ли не высшего удовлетворения. Ему радостно сознавать, что он живет «с истинной пользой для пятисот человек».

Заключение таково: «Главное право русского дворянина — быть помещиком; главная должность его — быть добрым помещиком; кто исполняет ее, тот служит отечеству как верный сын, тот служит монарху как верный подданный: ибо Александр желает счастья земледельцев»⁸.

Этот взгляд, естественно, очень легко оспорить. Но ведь писал же, например, Сабанеев после посещения орловских имений Воронцова, что крестьяне на него молиться должны, ибо он для них поистине «отец родной». Но беда в том, что такое «благоденствие» даже таким умным людям, как Дашкова, Карамзин и др., представляется вершиной гуманности и человечности и они и помыслить не могут, что возможна и для крестьян иная жизнь, иное благоденствие! Во всяком случае «Письмо сельского жителя» несколько проясняет общую картину.

Далее. Насколько прав Карамзин, утверждая, что безземельное освобождение окажется для крестьян большим злом, чем крепостное рабство? Вопрос очень важный и не менее сложный. Освобождение без земли являлось идеалом для большинства дворян, ибо давало им дешевую рабочую силу: крестьяне вынуждены были бы арендовать землю у господ. Указ 1803 г. популярностью у помещиков не пользовался, и о наделении крестьян землей слышать не хотели не только Карамзин, не только «либералист» и ярый крепостник граф Мордвинов, но даже (правда, лишь поначалу) будущие декабристы, в том числе Якушкин и Никита Муравьев. Именно поэтому проект освобождения, подписанный Аракчеевым в 1818 г., был, как отмечал еще В.О. Ключевский, куда прогрессивнее мордвиновского, ибо пре-

дусматривал обязательное наделение крестьян 2 десятинами земли при освобождении.

Безземельное освобождение крестьян в Прибалтике в 1816—1819 г., растянувшееся на долгие годы, несомненно ухудшило их положение, резко снизив реальный жизненный уровень. Лучше станут жить лишь их правнуки. В 1819 г. Новосильцев в особом письме императору резко отрицательно отозвался об идее безземельного освобождения, которая в ту пору стала овладевать умами дворян в Литве и Белоруссии. При этом он ссылался на печальный опыт подобного освобождения в бывшем Великом герцогстве Варшавском, которое произвел Наполеон в 1807 г. Так что Карамзин был прав, выступая против освобождения крестьян без земли. Другое дело, что в проектах графа Гурьева, Канкрин, «аракчеевском» мы встречаем иную точку зрения: необходимость наделить крестьян землей. Но эта позиция не была типичной, причем даже в эпоху «великих реформ». Ведь и в 1861 г. Александр II фактически заставил помещиков продать бывшим крепостным землю, совершив — юридически — акт насилия над принципом частной собственности.

Наконец, главный довод против освобождения — «свобода без просвещения ведет к анархии». Его тоже опровергали много раз. И все же так ли он неверен? Легко ли исчезает то, что копилося веками? Наше время дало и еще даст обширный материал, подтверждающий этот тезис. И аргумент Н.И. Тургенева — разве можно делать добро не вовремя? — скорее логический, чем реалистичный.

Таким образом, в оценке крестьянского вопроса, как и в оценке возможных реформ Карамзиным (и Ермоловым!), есть много верного. Их рассуждения нельзя просто отбросить по причине их реакционности. Если во Франции, в стране куда более просвещенной, была такая страшная бойня, принявшая затем европейские масштабы, то чего можно было ждать от «переворота» в России? И все-таки...

И все-таки — Правда была не за ними.

У Сперанского был сильнейший аргумент, «неубиваемая карта»: «Мудрость правительства состоит не в том, чтобы ожидать событий и подчиняться им, но в том, чтобы управлять ими, уметь отнять у случая то, что этот случай может принести вредного».

Прав, во многом прав Карамзин. Но когда-то нужно было начинать. Ни Сперанский, ни «Общество для освобождения крестьян» и не думали предлагать никаких революционных мер. Они хотели, в частности, предотвратить ту самую пугачевщину, которой опасались — с полным на то основанием — ничуть не меньше Карамзина, Ермолова и Закревского. Речь шла о том, чтобы сдвинуть с места тяжелый состав российской государственности. А их критики были уверены, что дальше и ехать не надо и что здесь-то и нужно устроить, условно говоря, мемориальный

музей. В 1816 г. Карамзин говорил, что Россия теперь может скорее упасть, чем подняться еще выше. Мысль не оригинальная, так же считал и Александр I, но с существенным уточнением — с точки зрения внешнеполитической, с точки зрения военного могущества. А Карамзин, Ермолов и тысячи их единомышленников связывали величие страны именно с военной мощью, и только с нею. Остальное было второстепенно.

Когда-то нужно было начинать долгий путь к свободе. Теперь, полтора века спустя, имеются тысячи и тысячи доказательств того, как труден путь «исправления нравственного», к чему ведет свобода без просвещения. Кстати, это хорошо понимали и тогдашние «либералисты» и именно потому хотели вступить на эту дорогу как можно раньше. В этом же заключалась суть пафоса Сперанского. Но все защитники крепостничества оказались в порочном круге: крестьян нельзя освобождать, поскольку они не просвещены, а так как просвещать их никто не собирался, то и вопрос об их освобождении не мог быть решен.

Будущее надо готовить. Иначе оно стигит за слепоту тем зрячим, которые ведут себя, как дашковский «слепой на скале».

НЕМНОГО О КОНСЕРВАТИЗМЕ ПРАВЯЩИХ КЛАССОВ И РОССИЙСКИХ В ОСОБЕННОСТИ

Тема эта вечная и в содержательном, и в эмоциональном аспектах.

Начнем мы со времени, отстоящего от нас и от 1820 г. на равную примерно величину, — с 1907 г. К этому моменту не было уже детей Ермолова, хотя, проживи они с отцово, увидели бы манифест 17 октября, а младший, Николай Алексеевич, — и эвакуацию Врангеля.

Революция, в огромной степени спровоцированная недалекновидностью, даже тупостью правящего класса, революция, фитиль которой был зажжен еще в 1861 г., была практически подавлена. И российские крайне правые, которых не было слышно и видно в самые опасные для царизма дни 1905 г., вновь подняли головы. Была уже разогнана I Дума, и не за горами было 3 июня 1907 г. Но правым все было мало. Их проклятья уже сыпались на головы тех, кто, по их мнению, потакал революционной крамоле, был недостаточно тверд, т.е. жесток, и т.д.

Скоро они объявят «красным» Столыпина, лихорадочно пытавшегося спасти то, что он считал нужным спасти, в том числе и этих самых крайне правых. Один из его ближайших сотрудников, Сыромятников, предупреждал об опасности «после безумного поворота влево... столь же безумного поворота вправо, возрождения старой нашей исторической лжи, что все обстоит благополучно и что шапками закидаем»¹. Но правым было

ненавистно все, что напоминало о революции, была ненавистна Дума как символ ограничения, пусть и достаточно формального, власти самодержца. В этом они вполне могли поспорить с Карамзиным. Их идеал был там, в николаевской, дореформенной эпохе. Напрасно правительственная газета «Россия» уговаривала их, что «времена крепостного права никогда не вернуться», доказывала, что монархические убеждения совместимы с конституционными взглядами, убеждала, что «реку не засыпешь, но что можно направлять ее русло». Российским ультра ставились в пример германские консерваторы: «Надо защищать историческую сущность, а не те или другие временные ее выражения... Пора бы нашим правым поехать в Пруссию и поучиться тому, как работает в ландтаге и рейхстаге прусская консервативная партия, отстаивающая монархическое начало конституционными средствами» (это писалось 3 июня, в день государственного переворота). И еще одна цитата из «России»: «Разумная политика после революции требует реформ, а не восстановления прошлого в его неприкосновенности и целостности для того, чтобы дать нравственное оправдание новому взрыву народных страстей».

Год 1820 и год 1907 — совершенно разные эпохи. В 1820 г. о реформах говорили много, но скоро стало ясно, что разговорами дело и кончится. В 1907 г. реформы как будто начались. Однако нельзя не видеть и общего — реакции большинства дворян на саму возможность реформ.

Поведение ультраправых в 1907 г. показывает, что, даже пережив 1905 г. — более чем выразительное предупреждение, можно ничего не понять, «ничего не забыть и ничему не научиться» (в истории найдется немного примеров столь фатальной исторической близорукости). И первым среди тех, кто ничего не желал видеть и понимать, был сам царь. И хотя жизнь еще оставляла этим людям надежду на спасение — как бы бросала канат безнадежно утопающему, — утопающий предпочел утонуть в полном соответствии с тем, что принимал за каноны.

С.Ю. Витте, один из умнейших людей, когда-либо служивших династии Романовых, характеризуя политику царизма тех лет, пророчески говорил: «Сверху пошел клич — все это (война и революция. — М.Д.) крамола, измена, и этот клич родил таких безумцев, подлецов и негодяев, как иеромонах Илиодор, мошенник Дубровин, подлый шут Пуришкевич, полковник от котлет Путятин и тысяча других. Но думать, что на таких людях можно выйти, — это новое мальчишеское безумие. Можно пролить много крови, но в этой крови и самому погибнуть и погубить первородного чистого младенца сына-наследника. Дай Бог, чтобы сие не было так, и во всяком случае, чтобы не видел я этих ужасов...»²

Так можно ли обвинять Карамзина, Ермолова или Закревского в консерватизме?

Кстати, подобная слепота — явление вовсе не чисто

российское, хотя в России, пожалуй, оно имело *самые* роковые последствия для тех, кто эти взгляды исповедовал. Вспомним, например, как сопротивлялись в конце XVIII в. реформам императора Иосифа II магнаты и дворяне в Австрии, как бесновались прусские юнкера в середине XIX в. из-за реформ, которые должны были спасти их самих и которые и спасли. Количество примеров такого рода легко умножить.

Последствия политики, которую в первой четверти XIX в. отстаивали Карамзин и его единомышленники, вполне очевидны. Нам же сейчас важно понять, что в 1820 г. имела место стандартная ситуация, возникающая в любой стране при попытке проведения любых реформ. Были, условно говоря, правые, левые и центристы. Как и в 1800-х годах, они различались и степенью влияния на царя, и своей численностью, а главное, численностью тех, кто их «делегировал», чьи интересы, понимаемые как гласно высказываемые мнения, они отражали. За консерваторами стояла подавляющая масса дворянства, совершенно инертная в общественно-политическом плане, не заинтересованная ни в каких реформах, которой нужно было уничтожить крайности павловского деспотизма, и не более. За реформаторами, в сущности, не было никого. Их проекты зиждились на собственных убеждениях и не подкреплялись общественным мнением, в отличие от позиции Карамзина; иногда эти либеральные идеи своеобразно ориентировались на известные всем настроения царя.

1820 год, как и эпоха Сперанского, показал, что дворянам реформы были не нужны. Бесконтрольность власти царя соответствовала такой же бесконтрольности в отношениях между помещиками и крестьянами. Реально большинство дворян не только, говоря условно, не видело дальше своего носа, но и полагало, что именно там находится горизонт. И это одна из константных характеристик мировой истории.

Сам по себе факт одобрения или неодобрения реформ большинством представителей класса вовсе не обязательно говорит о понимании ими своей настоящей, действительной пользы, насколько точным может быть этот термин*. Реформа — нечто ломающее привычный уклад. При человеческой склонности к консерватизму она часто встречает естественное сопротивление — не было бы хуже! Чаще всего реформы проводятся вопреки воле арифметического большинства, даже когда они в интересах этого большинства. Это — закон истории. Потом их могут приписать

* Предупреждая возможные обвинения в апологетике насильственного внедрения абстрактной «настоящей» пользы меньшинством вопреки большинству, заметим, что критерий здесь может быть только один — количество пролитой крови. Этот критерий давным-давно усвоен настоящими политиками, но, увы, не дилетантами, которые берутся решать глобальные проблемы, нисколько не задумываясь о тех, кто становится жертвами их кровавых экспериментов.

большинству, но это — надругательство над здравым смыслом, над ходом истории, недооценка естественной силы вещей.

Важен и вопрос о степени зрелости реформ. Еще раз повторим, что серьезные реформы — чаще следствие неудач, чем успехов. С этой точки зрения деятельность Александра I и Сперанского после Тильзита выглядит куда логичнее, чем попытки реформ после Венского конгресса. Неудачи ясно показывают необходимость перемен, успехи же, напротив, поощряют сохранение статус-кво. Понятия «государственная необходимость», «назревшие реформы», «реформы, время для которых еще не настало» нередко (не всегда!) есть самая примитивная попытка объяснения исторического результата постфактум.

Если преобразования удаются — говорят, что время пришло, потому все и вышло хорошо, если нет — следовательно, они были преждевременными. Но всегда ли так на самом деле? Что стоит за «зрелостью» тех или иных реформ? Простой факт — удалось их провести в жизнь или нет. Но ведь осуществление реформ в абсолютистском, например, государстве сильнейшим образом зависит от конкретно-исторического «расклада» сил в высших эшелонах власти. А этот «расклад» может лишь приблизительно отражать то, что мы называем государственной необходимостью (или принимаем за таковую). Не говоря уже о том, что в истории можно найти какие угодно примеры самых невероятных, нелепых и т.п. ситуаций, вполне подпадающих под понятие реформ: вспомним, разве редко воплощались в жизнь проекты честолюбивых одиночек и, напротив, те реформы, которые могли бы спасти страну от бедствий, оставались на бумаге? Ведь понятно, что если бы освобождение крестьян началось не в 1861 г., а на полвека раньше, результат был бы иным.

Весьма часто одной из главных причин революции является недалекость правящих классов и групп, не представляющих, что может произойти с их же детьми и внуками. Правящие классы России в этом смысле просто уникальны. Это ведь только в школьных учебниках говорится, что Крымская война-де воочию продемонстрировала гнилость и бессилие царизма и показала необходимость освобождения крестьян. Царю показала, а большинству дворянства нет. Как жесточно оно сопротивлялось реформам! Представим на секунду, что произошло чудо и даже не графу Панину в 1860 г., а Карамзину и Ермолову показали бы кадры кинохроники 1917—1920 гг. Случись такое, убедись они, во что обошлась потомкам их ограниченность, верно, крестьян начали бы освобождать, не дожидаясь «Севастопольских рассказов», и поэтический ответ на вопрос «кому на Руси жить хорошо?» был бы, возможно, иным.

Увы, в начале XX в. С.Ю. Витте констатировал: «Все великие реформы императора Александра II были сделаны кучкою дворян, хотя и вопреки большинству дворян того времени, так и в

настоящее время имеется большое число дворян, которые не отделяют своего блага от блага народного и которые своими действиями изыскивают средства для достижения общенародного блага вопреки своим интересам, а иногда с опасностью не только для своих интересов, но и для своей жизни. К сожалению, такие дворяне составляют меньшинство, большинство же дворян с точки зрения государственной представляют кучку дегенератов, которые ничего, кроме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей, — ничего не признают...»³

«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРЕНИЯ»

В историографии давно уже предпринят анализ споров о будущем России, происходивших между П.Д. Киселевым, Д.В. Давыдовым и М.Ф. Орловым в период их совместной службы во 2-й армии. Следует, однако, вернуться к ним, чтобы уточнить некоторые важные детали, касающиеся мировоззрения Киселева в этот период.

Начнем с известного письма Давыдова Киселеву от 15 ноября 1819 г., где Денис Васильевич высказывает свое отношение к идеям, которые владели тогда Орловым: «Да простит мне Михаил-идеолог! Скучное время пришло для нашего брата солдата! Что мне до конституционных прений!» И далее Давыдов признается в «эгоизме». Будь он молодым офицером, возможно, он и встал бы под знамена «Михаила-идеолога», а теперь riskовать двадцатилетней репутацией, опытом, знаниями поздно. Тем более, что он знает: «и при свободном правлении» он останется «рабом», ибо останется солдатом. Тем более, что при нынешнем положении он избавлен от необходимости быть «слепцом», держаться за поводья, а напротив, сам может поучать многих, — для Давыдова это очень сильный аргумент. Итак, эгоизм, а не принципиальные разногласия. Вопросы о полезности «конституционных прений» Давыдов не обсуждает — они подаются им как нормальная разумная альтернатива, а значит, как нечто не менее разумное (по крайней мере имеющее право на существование), чем армейская стезя, избранная им двадцать лет назад.

Но это теория. В жизни все сложнее.

«Мне жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу; я ему говорил и говорю, что он болтовнею своею воздвигает только преграды в службе своей, которою он мог быть истинно полезным отечеству. Как он ни дюж, а ни ему, ни бешену Мамонову не стряхнуть абсолютизма в России. Этот домовый долго еще будет давить ее тем свободнее, что, расслабясь ночью грезкою, она сама не хочет шевелиться, не только привстать разом. Но мне он не внимает».

Итак, приемлемые в теории мысли Орлова в реальной жизни оказываются заблуждением: России нет дела до конституции. Полезно обществу то, что отвечает его сегодняшним нуждам, и потому деятельность Орлова сейчас бесполезна и даже вредит ему самому. Ведь как человек талантливый он мог бы принести «истинную пользу» (как разнится понимание истины даже у близких, в общем, людей!). Причем отношение самого Давыдова к абсолютизму отнюдь не пиетическое, как можно видеть.

В письме есть фрагмент, показывающий глубину постижения Давыдовым современной жизни: «Опровергая мысли Орлова, я также не совсем и твоего мнения, чтобы ожидать от правительства законы, которые сами собою образуют народ. Вряд ли оно даст нам другие законы, как выгоды оседлости для военного поселения или рекрутский набор в Донском войске». То есть Киселев верит в реформы «сверху», а Давыдов нет. Прав оказался последний.

«Я представляю себе свободное правление, как крепость у моря, которую нельзя взять блокадою; приступом — много стоит. Смотри Францию; но рано или поздно поведем осаду и возьмем ее осадю... пока, наконец, войдем в крепость и раздробим монумент Аракчеева. Что всего лучше — это то, что правительство, не знаю почему, само заготавливает осаждающим материалы военным поселением, рекрутским набором на Дону, соединением Польши, свободою крестьян и проч. Но Орлов об осаде и знать не хочет; он идет к крепости по чистому месту, думая, что за ним вся Россия движется, а выходит, что он да бешеный Мамонов, как Ахилл и Патрокл, которые вдвоем хотели взять Трои, предприняли приступ»¹.

Этот фрагмент при всей красочности и образности языка (одно сравнение Орлова и Дмитриева-Мамонова с Ахиллом и Патроком чего стоит!) оставляет много вопросов. Если развить метафору Давыдова, то получится, что Киселев полагает, будто крепость сама отворит ворота, Орлов же считает, что надо ее штурмовать. Сам Давыдов уверен, что на сдачу рассчитывать нечего, а штурм, т.е. революция, дорого станет, поэтому надо вести осаду. Но что понимается под крепостью? И кто будет осаждать? И что понимается под «всей Россией», которая, по мнению Орлова, идет за ним на приступ? Только ли это дворянство, или и другие классы тоже? Народная ли это революция, или военная, в духе испанской? Судя по тому, что на «осаждающих» работают и военные поселения, и грядущее якобы освобождение крестьян, и столь же гипотетический набор рекрутов на Дону, и образование Царства Польского, — круг достаточно широк. Но все равно остается неясность. Уже восставали бугские казаки и чугуевские поселенцы, еще продолжается восстание на Дону. Если произойдет всеобщий взрыв, разве он не будет тем же «приступом», в реальность и успешность которого Давыдов не верит? Или же цепь народных восстаний должна вырвать у

правительства уступки? Возможно. По крайней мере ход осады описан натурально и момент *постепенности* заострен. Но ведь и осада требует деятельности вполне определенного рода. Словом, точка зрения Дениса Васильевича во многом представляется весьма туманной.

Давыдов делает ценное сообщение: Киселев считает, что правительство само даст реформы. У Киселева, который несколько лет провел возле царя, были как будто основания для подобного заключения, ведь разговаривал с ним Александр I довольно откровенно. Позиция эта не была оригинальной по тому времени — в то, что рабство падет «по манию» царя, верили и многие декабристы, хотя за полтора года, прошедших после варшавской речи Александра, веры поубавилось. Нам сейчас важно не то, что Давыдов, как и Ермолов, оказался прозорливее Павла Дмитриевича, а то, насколько вера в перемены «сверху» вписывается в общие взгляды Киселева того периода. Сохранившиеся черновики его писем к М.Ф. Орлову, приводимые Н.М. Дружининым, многое проясняют на этот счет.

Киселев постулирует: «Цель моя благонамеренная и потому одинакая с твоею», «каждому определено, каждому предназначено увеличивать блаженство общества». В этом смысле он приветствует желание Орлова улучшить существующий порядок. Вопрос в том, как это сделать, какими способами и средствами. «Все твои суждения в теории прекраснейшие, в практике неисполнительные. Многие говорили и говорят в твоём смысле; но какая произошла от того кому польза? Во Франции распри заключились тиранством Наполеона, в Англии — приращением власти министерской, в Германии — Марнским инквизиционным трибуналом. Везде идеологи — вводители нового — в цели своей не успели, а лишь дали предлог к большему и новому самовластию правительств». Киселев по-своему прав и во многом прав. К тому же у него, как и у Давыдова, мощный аргумент: 25 лет революций и войн, начавшихся штурмом Бастилии и закончившихся «Ста днями».

«Общее зло менее чувствительно, чем частное, — полагает Киселев, — общее искореняется веками, обстоятельствами, судьбою, а частное — увеличивается или уменьшается облеченными властью»². Эту мысль он уточняет в дневнике: «Время и необходимость сообразоваться с его духом есть лучшее средство преобразования общества; ускорять его неблагоприятно, не сознать его было бы нелепо»; «всякие насильственные потрясения гибельны»³.

В связи с этими высказываниями Киселева нельзя не вспомнить Карамзина, писавшего: «Утопия будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием

времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов»⁴.

Киселев поясняет, почему гибельны потрясения. В этом случае на авансцену вышел бы простой народ и выдвинул бы свои требования. Конечно, одновременно «нашлись бы благонамеренные и представилось бы много желательных улучшений; но вместе с ними появились бы и люди 1793 года и предложения развратные». Вместо порядка наступила бы анархия.

Итак, Киселев против революции, за медленное, постепенное продвижение вперед, обязательно соотносящееся с исторически сложившимся духом народа и страны. И руководить этим продвижением должно само правительство.

Если бы Киселев и Орлов спорили не в 1819 г., а тридцатью годами раньше, в 1789, то неизвестно, что написал бы Павел Дмитриевич, да и состоялся бы этот спор вообще. Однако всю свою жизнь они с Орловым боролись с тем, что вышло из реализации идей, которыми жил Орлов. Поэтому на стороне Киселева факты, а у Орлова эмоции и «суждения в теории прекраснейшие». Легко разрушить то, что создавалось веками, а вот построить идеальное общество, как показал опыт Франции, не просто трудно — невозможно. Ведь Киселева не нужно убеждать, что многое вокруг требует изменения. Он сам прекрасно видит это и в меру своих сил пытается улучшить, но именно улучшить, а не решительно изменить. Все должно происходить постепенно. Вопросы о *переломе* не стоит, ибо всегда, каждую минуту он помнит о революции во Франции. То, что итогом революции явилось крушение феодализма в этой стране и ослабление феодального гнета на большей части завоеванных Наполеоном земель, Киселев не замечает, а если бы ему указали на это, то, верно, и не обрадовался бы: «дорого стоит». Он-то хорошо знал, чем заплатила Европа за «пагубную анархию Революции», хотя, вероятно, Киселеву и его современникам не была известна цена наполеоновских войн — 5 млн. человек, по современным данным. Нельзя упрекать их за такой взгляд.

Павел Дмитриевич пытается внушить Орлову то же, что внушал тому Давыдов: «Я полагаю, что гражданин, любящий истинно отечество свое и желающий прямо быть полезным, должен устремиться по мере круга действия своего к пользе дела, ему вверенного. Пусть каждый так поступает — и более будет счастливых... от министра до будочника, от фельдмаршала до капрала, каждый чин, каждое звание — влиянием своим полезен

Заслуживает внимания и продолжение этой мысли: «Когда люди уверятся, что для собственного их счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни» (*Карамзин Н.М. Письма русского путешественника*. М., 1984. С. 123). Никита Муравьев по поводу этих строк заметил: «Так глупо, что нет и возражений».

быть может»⁴. Орлов хочет сделать счастливыми всех сразу, а это невозможно. Поэтому Киселев предлагает ему обратиться к той сфере, где он может быть «истинно полезен отечеству»: улучшать положение солдат, порядок дел в армии и т.д.

Таков был этот спор, один из сотен или тысяч подобных споров, происходивших в то время в России.

Трудность положения Киселева заключалась в том, что в итоге он оказался *посвящен* не только властями, но и теми, кто собирался выступить против них. Вопрос в том, насколько далеко заходили предложения последних. То, что *предлагал* Орлов, — вне сомнения. Но Орлов был близким другом, и с ним можно было быть откровенным во всем. А вот подчиненные — «молодые якобинцы»? Якушкин уверен, что Киселев все знал о Тайном обществе, но смотрел на это сквозь пальцы. Так ли?

В историографии приводится цепь противоречивых, как кажется исследователям, поступков Киселева, вытекавших, по словам Н.М. Дружинина, из «неразрешимой двойственности его социально-политической позиции». Он покровительствует Пестелю и иже с ним, а в то же время следит за неблагонадежными в армии (т.е. и за ними тоже? Тогда не благодетель, не покровитель, а провокатор!), дружит с Орловым, но энергично расследует «камчатскую историю», добиваясь его отставки, обнимает Басаргина, которого через несколько часов арестуют и отправят в Петербург, и уверяет его в неизменной любви.

Неужто объятия Иуды? Конечно, нет.

Киселеву вообще гораздо раньше многих современников пришлось начать репетицию страшных дней конца 1825 — начала 1826 г., когда 14 декабря разорвало узы кровные, дружеские, семейные, и каждый, точнее, очень многие решали для себя на практике вопрос с том, есть ли противоречие между «службой» и «дружбой». А тогда, в 1819 г., была уникальная, никогда более не повторившаяся в истории русского освободительного движения ситуация: Власть знала о заговоре, но не репрессировала, и не началось еще Размежевание. Все пока воспринимали друг друга только через призму боевой, бивачной, гарнизонной дружбы, и факт некоторых вольностей в разговоре отдельных знакомых еще не был наделен той невеселой значимостью, которую он получит позднее. Ведь это время, когда П.М. Волконский, один из первейших сановников империи и друг царя, писал: «Весьма рад, что Миша мой Орлов женится; надеюсь, что после того остепенится, я его люблю и сожалею, что ветреностию своею и легкомыслием он много делает себе вреда, тогда как у него душа и сердце предобрые и благородные чувства, но язычок проклятый не может удержать, воображая, что все, что он говорит, есть свято и что все должны быть с ним одного мнения»⁵.

Никогда уже потом не будет таких многочисленных неформальных связей будущих жертв, палачей, пособников и зрителей.

«Миша мой Орлов» — «душа и сердце добрые...»
«Утопия будет всегда мечтою доброго сердца...»
Всегда ли?

«ЧУГУЕВСКИЕ ВЕСЕЛОСТИ»

В июне 1819 г. вспыхнуло восстание поселян в Чугуеве, подавленное с необычной даже по аракчеевским меркам жестокостью: 2 тыс. арестованных, 275 человек, приговоренных к 12 тыс. ударов шпицрутенами (по другим данным — 204 человека), 25 умерших от побоев, несколько сот сосланных в Оренбургский корпус. Эта зверская по тому времени расправа вызвала возмущение, далеко выходящее за пределы декабристского круга. Закревский сообщал Киселеву: «О чугуевских веселостях мы давно знаем, ибо 4 полка из 1-й армии пошли туда на помощь. Змей также туда отправился... Признаться надо, что он единственный государственный злодей»¹.

«Незавидное положение гр. Ар[акчеева], — писал Ермолов, — усмирять оружием сограждан. Я подобное дело почел бы величайшим для себя наказанием»². Закревский уже в конце года, уподобляя, как говорилось выше, Аракчеева чуме, замечал: «Мне кажется, что Клейнмихель со временем будет еще хуже его. Экспедиция его в Чугуев чудесная». Арсений Андреевич и здесь оказался прав: Клейнмихель был вполне достоин своего «патрона».

Аракчееву оставалось властвовать шесть лет, и не Чугуевом кончаются его «веселости».

«ЧЕГО ХОТЯТ СИИ ЗЛОДЕИ?»

Летом 1820 г. Александр I обзрел войска и военные поселения в ряде губерний Центра и Юга страны. Впечатления Волконского, который в таких случаях всегда «ретранслировал» мнения царя, прямо-таки радужные: «Поселения идут очень хорошо, деревни отстраиваются и содержатся в удивительной чистоте и порядке, из кантонистов выйдут удивительные не только солдаты... но и отличные офицеры»¹. Словом, полная идиллия, совсем «как при покойной бабушке» императора, путешествие которой по этим же примерно местам обогатило человечество бессмертным афоризмом о других деревнях, тоже быстро (возможно, даже чересчур!) строившихся и тоже блиставших чистотой за неимением времени запылиться.

Но сходство здесь, конечно, чисто внешнее. Ибо на потемкинских деревнях (а историки так и не решили, были ли они декорацией, или нет) — отблеск веселого водевильного розыг-

рыша. Аракчеевские же поселения *слишком* реальны, и чугуевские и иные «веселости» разыгрываются совсем не в жанре водевиля.

В письме, написанном из Чугуева 31 июля 1820 г., Волконский между сообщениями о том, что в «Курске кирасирский смотр был отличный, не дурны были также смотры и в Козлове и Воронеже» и что «жары необычайные стоят, и сил нет переносить, а смотры и балы замучили», замечает: «Местоположение Чугуева прекрасное, но город более похож на деревню». О прошлогоднем восстании, понятно, ни слова. Но, видимо, есть своя невеселая символика в том, что именно в этой, вошедшей в историю как образцовая, аракчеевской деревне царем был подписан указ о награждении Чернышева, палача восстания на Дону, «Александровской лентой за усмирение»².

Справедливости ради заметим, что через пять лет Волконский, уже побежденный Аракчеевым и отставленный от прежней должности, получил возможность сравнить «показуху», которой встречали царя и его самого, с некоторыми реалиями российской действительности. В июне 1824 г. Денис Давыдов поделился с Закревским впечатлениями от встречи с полуопальным «Петраханом» и помимо прочего сообщил следующее: «Ездив всегда с Государем, для коего и украдкой от коего, несмотря на *рабочее время*, губернаторы выгоняют целые губернии для работы дорог, Волконский теперь увидел во всей нагоде дороги, по коим мы, грешные, ездим, или лучше сказать, кои мы, грешные, объезжаем, ибо ездить по ним нет возможности. Словом, он выехал из Москвы в Суханово верхом...»³

Летом 1820 г. радость Волконского омрачает одно важное для него обстоятельство. «Быв в Вознесенске, имел я случай видеть детей своих, которые приехали ко мне из Одессы с женою, и к крайнему сожалению видел, что они потеряли весьма много времени в лицеи в науках, и гораздо менее знают, нежели кантонисты гр. Витта, кои из мужиков; не могу вам изъяснить, сколько сие меня огорчило», — жалуется он Закревскому. Волконский собирается отправить детей за границу, чтобы там они получили «нужные знания и переменяли бы заключение мое на их счет». Однако признается, что боится посылать их в Париж «по беспрестанным там раздорам». Ведь только накануне получено известие о заговоре против Бурбонов. Заговорщики намеревались выслать королевскую семью из страны, а королем провозгласить сына Наполеона при регентстве Евгения Богарне. Выдали их солдаты, 35 офицеров уже арестовано, но последствия пока неясны. «Все сие, — заключает Волконский, — заставляет сомневаться, чтобы покой остался надолго во Франции, и не только в оной, но и в других государствах, ибо и в Италии идет все нехорошо».

Письма почтенного «Петрахана» частенько предстают таким слабоуправляемым «потоком сознания», и в них попадают

удивительно безыскусные переходы от «вселенских судеб» к, условно говоря, носовым платкам. Но в этом письме действительно странным образом оказываются связанными и кантонисты «из мужиков», посрамляющие своими знаниями недоучек-князей, выпущенных из Одесского лицея — будущего Ришельевского, и заговор бонапартистов против Бурбонов и их первого министра — того же герцога Ришелье, и судьбы европейской революции.

«Признаюсь, что мы живем в весьма трудном веке, и нельзя понять, чего хотят сии злодеи. Процесс королевы в Англии также не делает чести ни ей, ни королевству, и также, думаю, хорошо кончиться не может. Как и у нас в числе молодежи, особенно петербургской, есть чрезвычайно много вскруженных голов, то я писал сегодня к Васильчикову, чтобы он имел за ними неослабный надзор, и вас прошу приложить всемерное наблюдение за всеми их поступками и особенными собраниями их между собою. Нужно бы завести доверенных людей, кои бы старались быть вхожи в таковые собрания, дабы более иметь сведений об оных и предупредить могущее случиться какое зло»⁴, — завершает он письмо.

Так и хочется объяснить князю Петру Михайловичу, «чего хотят сии злодеи». Но, думается, это не было для него секретом. Тут, скорее, крик души — неужели все еще мало? Народы, однако, иного мнения. Им не нужны правители, приезжающие в обозе завоевателей, не нужна власть, которая держится иноземными штыками, и не могут они испытывать уважения к такой власти. Выясняется, что нельзя объявить народ счастливым и обязанным покорствоваться новым установлениям, сделав вид, что не было страшного двадцатипятилетия. Но и Волконскому, и императору, и многим другим все еще кажется, что это только нарушения нормы. Они не могут отказаться от привычных понятий феодального «способа мышления» и потому им тяжело увидеть и понять. Легче назвать век «трудным» и объявить его виновным в «кружении голов».

А век не трудный — он другой.

Франция, Италия, Англия, Россия (добавим, и Испания, где революция в разгаре). Впечатляющая панорама кризиса. И надо «брать меры» в отношении гвардейской молодежи, зараженной «французской болезнью» (выражение П.А. Вяземского). Волконский, как мы видим, беспокоится о создании в гвардии агентуры. Пока на дилетантском уровне (впрочем, для доноса не требуется специального образования, это в ту пору доказали Грибовский, Майборода, Бошняк и Шервуд). Закревский сразу и категорично отказывается от участия в установлении слежки за офицерами, ибо, недвусмысленно заявляет он Волконскому, нельзя так унижать офицерское звание.

Но «могущее случиться какое зло» случилось, и очень скоро.

«СЕМЕНОВСКАЯ ИСТОРИЯ»

«Почтеннейший князь Петр Михайлович, происшествие, случившееся в Семеновском полку, всех здесь огорчило, но должен сказать, что сему не иная есть причина, как совершенное остервенение противу полковника Шварца, и других побочных причин совершенно никаких нет, разве военный суд... не откроет ли чего... Знаю... что вы с Государем примете сей случай с большим неудовольствием и весьма справедливо. Но делать нечего, и мера, взятая с сим полком, была необходимая... Прощайте, будьте здоровы, веселы» — так 19 октября 1820 г. началась многомесячная переписка Закревского с Волконским по поводу восстания в Семеновском полку¹. Заключение письма вышло у Закревского почти издевательским, ненамеренно, конечно. Легко представить, как «веселились» император и Волконский в конце октября — начале ноября 1820 г.

Событийная канва восстания хорошо известна, что дает нам возможность не останавливаться на ней подробно. Напомним лишь, что после заграничного похода в Семеновском полку установился особый психологический климат (впрочем, это относится почти ко всей гвардии): были уничтожены телесные наказания, отношения между офицерами, среди которых были, в частности, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, и солдатами резко диссонировали с палочным режимом, господствовавшим в армии в целом. Однако новый командир Семеновского полка, полковник Шварц, снова ввел телесные наказания, издевался над солдатами, заставлял их плевать друг другу в лицо и т.д. С 1 мая по 3 октября 1820 г. по его приказу было наказано 44 солдата, получивших в сумме 14 250 ударов. 16 октября вечером головная «государева рота» самовольно собралась на переключку, вызвала начальство и принесла жалобу на Шварца. Роту обманным путем увели в манеж, там арестовали и отправили в Петропавловскую крепость. Тогда поднялся весь полк. Военным властям Петербурга удалось арестовать и его и также препроводить в крепость.

Назначение командиром старейшего полка русской армии (шефом семеновцев был сам царь) Шварца, который за четыре месяца довел эту примерную во всем часть до восстания, нужно рассматривать не только как этап в усилении аракатеевского режима (Шварц был креатурой «Змея»). Одновременно это была и определенная веха в «тихой» борьбе Александра с «молодыми якобинцами». Гвардия, по его мнению, была распушена чрезречур мягким управлением таких полковых командиров, как Пожемкин, Сазонов, Розен. Царь, насколько можно судить по письмам Волконского Закревскому, прямо связывал рост числа «вскруженных голов» с той психологической атмосферой, которая сложилась в русской армии после заграничного похода. Тут требовались

радикальные меры. В марте 1820 г. был заменен целый ряд полковых командиров, причем вновь назначенные имели весьма специфическую известность*. Однако для царя именно в этом и был их «плюс». Последствия не заставили себя долго ждать. Полк, в котором Александр многих солдат знал по имени, восстал.

Это, кстати, была уже вторая «история» в Семеновском полку. Первая случилась летом 1812 г. в разгар отступления. Полком с 1809 г. командовал полковник К.А. Криднер, «грубый человек, который не пропускал дня, чтобы кого-нибудь не допечь» из офицеров. 8 июля 1812 г. дело дошло до открытого столкновения. Криднер заявил одному из офицеров, Храповицкому: «Вы перед взводом идете, как кукла». Участник этих событий, капитан Павел Пущин (будущий член «Союза благоденствия»), командир роты, записал в своем дневнике: «Порешив проучить командира, все офицеры батальона постановили отправиться к нему и объявить, чтобы на будущее время он предъявлял какие угодно строгие требования, но чтобы никогда не осмеливался говорить дерзости офицерам». Локализовать скандал не удалось. 9 июля уже все офицеры-семеновцы объявили своим батальонным командирам, что хотят «потребовать у... Криднера довести до сведения великого князя (цесаревича Константина. — М.Д.), что офицеры, не имея возможности долее терпеть грубого с ними обращения командира, ходатайствуют, чтобы его обуздали». Характерно, что, по замечанию Пущина, «была всеобщая радость», хотя «дело могло принять дурной оборот». Еще бы, за такие действия в военное время легко было лишиться не только эполет. Об этом, в частности, напомнил офицерам на другой день сам цесаревич, апеллировавший к их патриотизму, к их любви к своей особе. Очень показательно, что семеновцы решили действовать вместе до конца («мы порешили не оставлять наших товарищей и во всем разделить их участь»); оказывается, в подобных случаях русские дворяне вели себя так же, как солдаты и крестьяне.

* Закревский писал Киселеву в марте 1820 г.: «Признаться тебе должен, что не понимаю нынешнего назначения полковых командиров... в Семеновском Шварц, в Преображенском будет Пирх, в Измайловском Мартынов и Московском Фридрикс. Я говорил о сем Васильчикову, и он мне ничего не мог отвечать, кроме, что Государю угодно. Ни в чье командование корпусом не назначали таких командиров, как теперь, и полагаю, что с сего времени гвардия будет во всех отношениях упадать, кроме ног, на кои особенное обращают внимание. Скажи же по совести, что ноги без головы, куда же годятся... Я думаю, что никогда не должно было так заниматься, как теперь, гвардией и иметь хороших начальников, к которым бы имели уважение. Война, и гвардия наша будет несчастная» (РИО. Т. 78. С. 228). А вот как в том же марте 1820 г. Д.В. Давыдов сообщал Закревскому о выходе в отставку: «Наконец я свободен: учебный шаг, ружейные приемы, размер пуговиц изгоняются из головы моей! Шварцы, Мартыновы, Гурки и Нейдгардты, торжествуйте, я не срамлю ваше сословие! Слава Богу, я свободен!» (РИО. Т. 73. С. 520).

После отъезда Константина Павловича произошла новая вспышка. В итоге Криднер счел за лучшее сказать больным, а полк возглавил полковник Посников. Но история на этом не закончилась.

Приехав в армию, император в декабре 1812 г. выразил свое неудовольствие Посникову и заявил, что «если в настоящее время он не налагает взыскания на главных зачинщиков, то только благодаря великому князю, которому он обещал это, и, кроме того... Криднер, покинув армию, связал его своим недостойным и низким поступком». Батальонный командир Храповицкого получил армейский полк, «чтобы он, отличившись, мог оправдать... снисхождение» царя. Семеновцев возглавил Потемкин. Показательно, что Александр заявил, что расформировал бы полк, не глядя на то, что «это полк Петра Великого», если бы не указанные выше причины, и что семеновцам «много и много надобно служить, чтобы заставить... забыть происшедшее»². Уже в марте 1813 г. в Польше полк провел учение. Царь остался доволен и, как пишет Пущин, «сказал, что теперь нам прощает все, в чем перед ним провинились, поступив нехорошо с Криднером».

Второй раз он прощать не собирался. В случайность этого мирного бунта Александр не верил. Правительство упорно искало следы подрывной деятельности. Обнаружить их не удалось, но убеждение в том, что она имела место, у царя осталось на всю жизнь. Обвинение пало прежде всего на офицеров, которые, стремясь вызвать взрыв возмущения, намеренно мешали Шварцу истязать солдат и которые в присутствии солдат открыто высказывали свое негативное отношение к Шварцу.

Волконский, разумеется, солидарно с императором, прямо считал, что «полк погиб от ошибок» военных властей столицы, и обвинял прежде всего Васильчикова и Бенкендорфа — начальника штаба гвардии. Если бы они с самого начала действовали иначе, дело окончилось бы мелким конфликтом. Закревский пытался было защищать их, но весьма неуклюже. В ответ на заявление Волконского, что «несчастье полка произошло от того, что Бенкендорф потерялся на первом допросе», он писал: «Я не полагаю, что Бенкендорф потерялся... он, мне кажется, просто не умел прилично действовать; он не знает достаточно русского

* По этому поводу Пущин саркастически заметил: «Мы, несчастные, думали, что нам придется бить неприятеля, чтобы достигнуть прощения, упустив совершенно, что одно удачное учение заменит по меньшей мере одну победу. Доказательство — то, что Бородинское сражение и вся бессмертная кампания 1812 г. не могли расположить к нам Его Величество настолько, как парад в Калише» (Дневник Павла Пущина. Л., 1987. С. 93). К императору явно относились без лишних иллюзий. Не тогда ли Александр взял на заметку Семеновский полк?

солдата, не умел хорошо объясняться по-русски и не знает, какими выражениями и какой твердостью должно говорить с солдатом, чтобы заставить себя понимать и повиноваться»³. Прекрасная характеристика! Осталось только выяснить, каким образом подобный человек оказался на должности начальника штаба российской гвардии. Ермолов, как обычно, отреагировал небольшим и удивительно точным резюме: «Пречудесные проказы сделались у вас в Семеновском полку и справедливо огорчится Государь... Надлежало при самом начале, когда одна еще рота объявила неудовольствие, не выводя из происшествия никакой важности, командующему корпусом дать оклик роте и человек пять-шесть передрать розгами, хотя бы в число то попались и не самые виновные. Таким образом, не было бы огласки». Если Шварц был виновен, его следовало до приезда императора отстранить от командования под предлогом болезни. «Весьма странно целую роту посадить в крепость, и, конечно, это верное средство возбудить в целом полку ропот и негодование. А что целый баталион посадили, то кто ни узнал о сем, первое чувство — хохот! Это не самая мудрая мера!.. В какое трудное Государь приведен положение. Наказывать большое число неловко, не наказывать нельзя, ибо примеру сему последуют другие... Но это не последняя в гвардии мерзость, если будут полками начальствовать Шварцы и им подобные. Солдат видит, что офицер не может иметь уважение к такому полковнику. Офицеры не могут, а быть может, даже и не хотят скрывать того, и солдат почерпает вредный пример разврата... Воля ваша, но, по крайней мере, в гвардии надобно начальников людей благовоспитанных, а не таковых, кои, окончив подвиги свои на плац-параде, никакого после того внимания к себе не внушают и спасаются от явного презрения несколькими золотцем, на плечах наклепанным»⁴. Ермолов из Тифлиса видел то, что осталось незамеченным в Петербурге.

Итак, в оценке «семеновской истории» наши герои елины. Шварц — мерзавец, но это не отменяет необходимости соблюдать воинскую дисциплину: армия не может исправлять ошибки командования неповиновением, тем более коллективным, иначе она перестает быть армией.

«Семеновская история» как бы сфокусировала основные проблемы армейской жизни того времени. Из них одна — проблема воинской дисциплины — носит, так сказать, методологический характер. Это вечный сюжет для всех армий. Каким образом следует добиваться повиновения? Как воспринимать подчиненных: как партнеров по выполнению долга или как сборище разгильдяев, которых нужно заставить выполнять элементарные обязанности? Вопрос, повторим, непреходящий. Для России того времени он как будто был решен: после 1815 г. в армии воцарился аракчеевский режим (кстати, сам Аракчеев имел к этому

косвенное отношение, но какова сила социальной репутации!). Однако картина, рисуемая источниками, сложнее.

Вопреки утверждениям о жестокой дисциплине, которые стали общим местом в историографии (приятное исключение — книга Вл. Лапина), в письмах Закревского постоянно звучит беспокойство о том, что дисциплина в армии падает. «Давно замечено, что в гвардии и армии нашей поселилось бабство и странная мягкость, вовсе не приличествующие качества в войсках». Если сначала Закревский относил возмущение семеновцев только за счет жестокости Шварца, то затем изменил свое мнение (притом без необходимости лицемерить). «Участь Семеновского полка решена довольно милостиво, но офицеры сего не заслуживают; они всему причиною и преждее доброе или слабое правление. Вот единственная причина сего происшествия... Солдаты сего полка слабым управлением до того были доведены, что не желали исполнять свои солдатские обязанности без всякой на то жестокости. После сего чего бы ты мог от них ожидать?» — пишет он Киселеву в декабре 1820 г. В мае 1821 г. он сообщает тому же адресату: «У нас по милости полковых и дивизионных командиров так часто бывают в полках гвардии происшествия, что пятую неделю пишем с фельдъегерями к Государю об оных. Воображаю, как ему приятно такие вести получать. По приезде Государю надо сим заняться и дружбу переменить на строгость, а любезность, с фальшивостью сопряженную, совсем истребить». Что имеется в виду — понятно. В письме князю Волконскому Закревский говорит, что офицеры-семеновцы, видимо, высказывали недовольство Шварцем в строю при солдатах, подавая последним дурной пример «неуважения к начальству», а в итоге и сами не смогли на них воздействовать в нужную минуту. «Я не оправдываю и полковых командиров в гвардии: они излишнею деликатностью своею, мне кажется, распустили офицеров до того, что они не имеют вовсе уважения к начальству. Каждый гвардейский офицер (с последнего прапорщика начиная) почитает себя вправе рассуждать о всяком распоряжении начальства, осуждать оное и, сделав свои заключения по оному, развозить по городу со своими примечаниями». Таких «болтунов» нужно выписывать в армию с тем же чином, объявив об этом в приказе по гвардии. «Сие тем более полагаю я нужным, что дух, ныне царствующий в Европе, сильно поражает слабые их умы и заражает их; они, напитавшись оным, первую обязанностью себе поставляют опорочивать все распоряжения и действия начальников и об оном говорить во всех собраниях». Однако причину этого Закревский видит не только в «духе времени». Отсутствие императора в столице стимулировало повышение чувства собственной значимости у петербургских военных властей. В январе 1821 г. он пишет Волконскому, что «дух единомыслия» в военной верхушке «исчез совершенно»: «Лица, которых мнения имеют

большой вес в публике и влияние на умы, говорят против некоторых распоряжений корпусного командира. В сем участвуют и статские, не имеющие понятия о том, что значит военное непослушание... Не нужно вам говорить, сколько вредно такое разномыслие, особливо в отсутствие Государя, и что оно, внушая неуважение к власти корпусного командира, делает вместе с тем пагубное впечатление в войсках и в публике... Кроме весьма дурных следствий, особенно для службы, другого от сих неуместных разговоров ожидать нельзя».

Закревский в первую очередь имел в виду Милорадовича — военного генерал-губернатора столицы. Но и другие генералы вели себя не лучшим образом. Так, за обедом у императрицы Елизаветы Алексеевны поссорились генералы Толь и граф Орлов-Денисов. Волконский совершенно справедливо писал: «Не поверите, как мне больно было слышать об истории, происшедшей за столом у Императрицы между генералами. Какой пример господа сии дают молодым офицерам, и можно ли до такой степени забыть уважение, которое обязаны они хранить к особе той, куда были приглашены...» Волконский занимал жесткую позицию, желая знать имена всех, кто больше других говорит «пустые вздоры и выпускает разные толки противу правительства... Лучше, чтобы потерпело несколько человек злых, нежели тысячи добрых и невинных». Закревский же — противник «наказания... по одним словам, без всякого доказательства», это было бы «совершенно несправедливо и послужило бы не к исправлению других, а более к раздражению умов». В феврале 1822 г. он писал Киселеву, что «если у нас есть много молодежи распущенной в войсках и потеряна дисциплина, то в сем никто более не виноват, как начальствующие войсками, которые не так служат, как должно благородному и с чувствами человеку, а ведут себя некоторые несвойственно их званию. А здесь чума сия в полной мере поддерживается и сим совершенно расстраивает порядок и дисциплину; а неуместная строгость, несообразная вине, более делает вреда, нежели пользы».

Итак, ситуация в гвардии в первом приближении как будто ясна: атмосфера 1812—1814 гг., по мнению правительства, оказалась не подходящей для мирного времени; офицеры разбалованы (солдаты тоже), а генералы подают дурной пример.

В армии наблюдалась схожая картина, но, кажется, по другим причинам. В 1822 г., когда царь отказался отправить Д.В. Давыдова на Кавказ, к Ермолову, тот послал Закревскому, что «ображается к сохе», ибо во внутренней России не пойдет служить ни начальником корпусного штаба, ни командиром бригады или дивизии: «Места сии сделались весьма опасными: они между своевольством, вкравшимся в класс штаб- и обер-офицеров, и

неограниченной властью главнокомандующего. Сам Рот*, коего нельзя упрекнуть в человеколюбии, сам Рот сносит от подначальствующих своих оскорбительные поругания... Любя славу Царя и отечества, сердце разрывается видеть армию нашу в таком положении! В ней грубость начальников и непослушание подчиненных заменили благородное обхождение первых и субординацию последних». Это не голословное утверждение. Достаточно вспомнить всю цепочку событий, приведших к дуэли Киселева и Мордвинова, да и саму дуэль! Командир Одесского полка, подполковник Ярошевицкий, «грубый, необразованный, злой», был ненавидим всем полком, «начиная от штаб-офицеров до последнего солдата». «Наконец, вышед из терпения и не будучи в состоянии сносить его дерзостей, решились от него избавиться. Собравшись вместе, офицеры кинули жребий, и судьба избрала на погибель штабс-капитана Рубановского. На другой день назначен был дивизионный смотр... Рубановский с намерением стоял на своем месте слишком свободно и даже разговаривал. Ярошевицкий, заметив это, подскакал к нему и начал его бранить. Тогда Рубановский вышел из рядов, бросил свою шпагу, стащил его с лошади и избил так, что долгое время на лице Ярошевицкого оставались красные пятна». Рубановского разжаловали и сослали в Сибирь. Но Киселев выяснил, что бригадный командир Мордвинов знал о заговоре офицеров, однако ничего не предпринял. Киселев сказал ему, что будет советовать Витгенштейну снять его с должности, что и случилось. Следствием был вызов Мордвиновым Киселева на дуэль, что одобрял, кажется, один А.С. Пушкин. Князь Волконский с присутствием ему здравомыслием так прокомментировал эту историю: «После сего, кому охота быть начальником, ежели всякий подчиненный будет требовать объяснение за дело по службе».

Происшествие в Одесском полку — далеко не единственное в этом роде. Правительство упустило, скорее всего ненамеренно, важнейший факт — офицерский корпус в лице своих лучших представителей вернулся с войны другим. Речь в данном случае идет вовсе не о «французской болезни», не о тяге к «представительному правлению». Чувство собственного достоинства, которое офицеры несомненно проявляли и раньше (достаточно вспомнить самоубийства павловского времени), теперь все чаще стало выражаться коллективно; впрочем, ситуацию XVIII в. мы представляем пока плохо. О развитии корпоративного чувства у офицеров русской армии говорит не только «семеновская история» 1812 г. После кампании 1807 г. все офицеры Выборгского

* Дивизионный, затем корпусной командир, известный своей жестокостью. Фигура в то время одиозная.

мушкетерского полка прислали назад пожалованные им золотые кресты за Прейсиш-Эйлау, заявив, что, пока не наградят их однополчанина капитана Тимофеева, они награду не примут. Своего рода эпиграфом к возмущению семеновцев стало происшествие в Измайловском полку (сентябрь 1820 г.). Бригадный командир, великий князь Николай Павлович, приказал полковому командиру Мартынову после развода заняться муштровкой офицеров, которые, по его мнению, были плохо подготовлены для фронта. Те возмутились и «ежедневно трое подавали прошения об отставке, по очереди и по жребию». Васильчиков убедил Николая извиниться, после чего офицеры взяли свои прошения обратно. Об одном из генералов Закревский писал Киселеву: «Ты желаешь иметь мое мнение о Маевском. Должен сказать, что он храбрый офицер, но характер имеет несчастный. Из одной бригады его карабинерной 40 штаб- и обер-офицеров подали в отставку. Часть оных уже прислана ко мне, но Дибич... просит оные остановить. Он послал уговаривать отличных офицеров, дабы остались в полках, но не знаю, какой будет успех».

Число подобных примеров можно увеличить, но едва ли в этом есть необходимость. Ясно одно: ужесточение дисциплины, переходящее в унижение личности, несовместимое с понятием о личной чести офицера и дворянина, не только не способствовало усилению субординации, но прямо вело к обратным результатам. И дело не ограничивалось «оскорбительными поношениями» начальника-хама. Он рисковал гораздо большим. Напомним, что сказал Киселев после дуэли с Мордвиновым: «Воля Царская, и я готов пожертвовать местом за честь свою, которую в жертву принести не могу».

«САМОЕ ТРУДНОЕ РЕМЕСЛО»

Каблуки сомкнуты. Подколенки стянуты. Солдат стоит стрелкой. Четвертого вижу, пятого не вижу...

Умирай за дом Богородицы, за Матушку, за Пресветлейший дом.

А.В. Суворов

Суждения, выводимые из контраста, едва ли не самые впечатляющие. Им так легко стать обиходными! Например, мы давно привыкли делить русских офицеров той эпохи на «гатчинцев»-аракчеевцев и «суворовцев». Отправной пункт этого деления — банальная антитеза: с одной стороны, тупая муштра, плац-парады, Аракчеев, будто бы выдиравший усы у замордован-

ных солдат, и «зеленая улица» как апофеоз Системы, а с другой — картина Сурикова, где великий полководец символично изображен на донской (по легенде) лошадке среди альпийских скал и снегов и своих чудо-богатырей, которые с довольными лицами штурмуют очередную пропасть.

Герои нашего рассказа, как известно, — «суворовцы». Но всегда ли мы понимаем, что стоит за этим термином?

Вопрос кажется неуместным, ибо смысловой центр термина, практически не оставляющий места периферии, — человеческое отношение к солдатам, всесторонняя забота о них.

Итак, гуманное отношение. Но это — общие слова. А что конкретно подразумевается под ними?

Мы знаем, что каждый из наших героев боролся с «гатчинским наследством», на которое каждый год нарастали большие проценты. И все же при более подробном рассмотрении эта, казалось бы, ясная картина, точнее групповой портрет, усложняется.

Вот пространные выдержки из двух документов того времени. Из первого: «Солдатское ремесло было бы самое трудное даже и в то время, если бы каждый из нас более всего заботился облегчить его участь. Давно удивлялся я геройскому их терпению, давно чувствую в полной мере их добродетели. Наконец, случай дал мне повод вникнуть во все подробности солдатской жизни.

Марта 1-го 1810 г., будучи в лагере за Дунаем, по пробитии вечерней зори вышел я из лагеря и сел подле дороги над озером, из коего войска пользовались водою. Вскоре после того увидел я четырех казаков. «Куда идете?» — спросил я их. «В лагерь», — отвечали они мне... Спустя несколько минут показались два егеря с манерками. «Куда, ребята?» — «За водою». — «Отчего же так поздно?» — «Виноваты; поужинали, пить захотелось».

Великий Боже! помыслил я сам с собою. Отчего виноват тот, кому после ужина пить захочется? Казак и егерь, оба русские, служат одному и тому же Государю. Отчего же казак свободен, а солдат не имеет права пользоваться таковою свободою? Ужель, не отягчая участи бедного солдата, нельзя соблюсти порядка службы? Ужель позволительная свобода может быть поводом к беспорядкам и неустройству? Я думаю, напротив того, что единственное и надежнейшее средство сберечь армию во всех отношениях состоит в том, чтобы улучшить состояние солдата...

Солдат отвечает только за себя; между тем от фельдмаршала до ефрейтора все именуется его начальниками, из коих каждый имеет неоспоримое право его бить, как будто бы нет иного способа удержать войска в должном повиновении. Возможно ли положить на моральность каждого из начальников, сей длинный ряд составляющих? Никак. Следовательно, польза службы, да и самая справедливость, требует, чтобы власть некоторых

чиновников в телесном без суда нижних чинов наказании имела свои пределы...

До сих пор мера власти в наказании ограничивается двумя крайними пределами: палки и смерть. Последняя не во власти начальника только в отношении ко времени; то есть, кто в один раз убьет, тот убийца, а кто в два года заколотит, тот не в ответе¹.

Из второго документа: «С 18 до 30-ти лет — суть лета, когда человек... принимается в службу военную. И в эти лета вдруг, оставя семейство... он клянется царю и службе на 25 лет сносить труды и встречать мученья и смерть с *безмолвным повиновением*. Клятва ужасная! Пожертвование, кажется, невозможное...

Участь его была бы сносною, если б вкравшиеся злоупотребления, основанные на лихоимстве и бесчеловечии, не вырвались бы из пределов своих и не обременили солдата кандалами незаконного насилия... Первое зло, которое вкралось в русскую армию, есть несоразмерно жестокие телесные наказания, которые употребляют офицеры вопреки всем законам для усовершенствования солдат, и, к несчастью и стыду, других средств большая часть из них не постигает... Наши офицеры от чистого сердца верить не могут еще, чтобы солдат мог быть когда-нибудь прав!

Ни один беспорядок в армии не возник собственно от солдат — либо жестокость или корыстолюбие и неразумие начальников были тому поводом. Русский солдат с каким-то благоговением видит власть, повинуется ей безмолвно, но любит видеть власть законную и справедливую... Если бы солдаты были вверены исключительно людям справедливым, благоразумным и образованным, тогда (и то с трудом) побои допустить бы можно было. Но где они?

Участь благородного солдата всегда почти вверена жалким офицерам, из которых большая часть едва читать умеет, с испорченной нравственностью, без правил и ума. Чего же ожидать можно?»²

Не требует специального обоснования тот факт, что люди, написавшие эти фрагменты, — единомышленники. И даже не очень различаются по темпераменту.

Однако в марте 1822 г. авторы этих строк, весьма близкие по духу, по неприятию существующей практики обращения с солдатами, встретятся лицом к лицу, но при этом одного приведут под конвоем, а другой будет его допрашивать. Первый отрывок взят из «Мыслей о солдате» Сабанеева, а второй — из «Записки о солдате» майора В.Ф. Раевского, «первого декабриста», арестованного после событий в Камчатском полку. Перед нами как бы увертюра встреч в Петропавловской крепости в декабре 1825 — мае 1826 г., когда люди, придерживающиеся по многим вопросам близких взглядов, а в прошлом иногда просто друзья, будут в

разных ролях по разные стороны баррикад. Один из вечных российских парадоксов. Но — только на первый взгляд.

В конце 1821 г. произошла «камчатская история». Камчатский полк, как говорилось, входил в 16-ю дивизию, начальником которой был М.Ф. Орлов. Один из ротных командиров, Брюхатов, хотел присвоить солдатские деньги, и когда каптенармус отказался их отдать, решил наказать его за это палками. Рота присила помиловать его, капитан настаивал на своем. Тогда трое солдат отняли палки у унтер-офицеров, которые должны были производить экзекуцию. Орлов приказал произвести официальное расследование и уехал в Киев. Следствие взял в свои руки Сабанеев. Одним из первых его шагов стал арест Раевского, который уже давно был под наблюдением Киселева. Так началось пятилетнее дело Раевского, закончившееся уже после суда над декабристами.

Большой интерес представляет переписка Киселева и Закревского по этому поводу. Вот что писал 15 февраля 1822 г. Киселев: «Адамов (командир полка. — М.Д.) глуп и был причиной требований солдат, а солдаты требовали потому, что распущена дисциплина в 16-й дивизии и что есть люди, которые, может быть, с намерением зло сие усиливали. Они давно под надзором и вскоре будет расплата... Мечтания Орлова хороши в теории, в практике никуда не годны. В службе нет дружбы, а еще менее панибратства. Заставить себя любить забвением обязанностей своих стыдно. Пусть ненавидят, но уважают... Вся его система фальшивой филантропии нам не годится. У меня в батальоне (учебном, при штабе армии. — М.Д.) не тиранят людей, но палок у унтер-офицеров не отнимают. Одну и ту же цель достигнуть можно разными способами. Он употребил те, которые в России не годятся, и зародыш неповиновения сказался... Я с июля месяца ему предсказывал сей случай... Он утверждал, что нравственные способы приличнее и полезнее тех, которые невеждами употребляются, и думал, что с Адамовыми, Брюхатовыми и солдатами нашими красноречивые толки будут иметь успех. Ошибся и сам пострадать может. Сабанеев решительно требует другого дивизионного командира».

Закревский отвечал в том же духе: «Неужели примеры не могли научить Орлова, как должно обходиться с нашими солдатами; он, кажется, худо понимает звание нашего солдата. Нежность и приветствие пустое есть вред настоящий для службы, и давать чувствовать солдату, что не может его наказывать унтер-офицер и фельдфебель, значит, внушать солдату нашему их не слушать. Живой сему пример — любезное обхождение в Семеновском полку довело до какого сраму нашу армию? Наш солдат не есть иностранный, его надо держать в руках и чтобы боялся поставленных над ним начальников, которые имеют право всегда его наказывать; но всегда отпускать все ему принадлежащее

и ничего не удерживать, пещись о нем, быть строго, но справедливо, тогда служба пойдет надлежащим порядком. И буде Орлов иначе думает о нашем солдате, то весьма неосновательно, что легко можно ему доказать»³.

А вот еще одно мнение Киселева: «Орлов должен сознаться, что система его неудобноисполнительная; он корчил Воронцова и позабыл, что тот командовал во Франции, имел средства обширные и со всем тем во многом не успел. Сверх того, добродушие Орлова ему повредило, он мягок для наших офицеров и добр до глупости»⁴.

И снова в споре с Орловым, на этот раз заочном, Киселев говорит, что к одной цели можно идти разными путями. И это не риторический оборот: благоденствие России и благоденствие ее солдат связаны множеством нитей. Киселев и Закревский солидарны в понимании причины возмущения солдат. «Нравственные способы», «нежность» и приветствие пустое, а также люди «правил весьма вредных», т.е. Раевский, развратили их, и дисциплина упала до того, что они посмели возмутиться незаконными действиями командира и стали требовать принадлежащее им по праву. Итак, исходная причина — «фальшивая филантропия», а не жестокость «глупых» начальников. При этом ни Киселев, ни Закревский не в восторге от этой жестокости, но не меньше огорчает их и пробуждение чувства собственного достоинства у солдат. В нем они видят только неповиновение, несовместимое с понятием воинской дисциплины. Такой же, как мы помним, была и их реакция на восстание семеновцев.

«Наш солдат не есть иностранный», Орлов «худо понимает звание нашего солдата», использует способы, «у нас в России непригодные», — эти мысли очень важны для понимания проблемы в целом. Легко догадаться, что речь идет о том, что русский солдат по своей непросвещенности, по своему характеру не может понять и оценить «любезного обхождения», «нравственных способов» обращения. Если тут и есть упрек солдатам, то его в значительной мере сглаживает замечание о том, что «Адамовы и Брюхатовы» глупы и тоже не могут оценить этих «способов». Над солдатами должен стоять унтер с палкой, считают Киселев и Закревский, и тогда все образуется.

Но что стоит за раздраженными словами Киселева: Орлов «корчил из себя Воронцова»?

После того, что мы знаем о деятельности Воронцова во Франции, сближение его с Орловым, человеком, который на нашей привычной шкале «хорошо—плохо» располагается от него весьма далеко, уже не кажется странным. Тем не менее оно заслуживает более подробного рассмотрения. Но начнем мы с Ермолова, точнее, с его реакции на практику Воронцова-командира.

Ермолов, как и Закревский, относился к идеям Воронцова об укреплении законности в армии, о реформе военного

судопроизводства достаточно скептически. Еще в 1816 г., готовясь к отъезду в Грузию, он в своих бесконечно остроумных письмах к Воронцову не раз мимоходом язвил по этому поводу. Иной раз заметит: «Ты у нас, любезный брат, молодец, а Арсений уверяет, что сверх того пишешь новые законы во Франции», в другой — сообщает, что в свободное время они только и говорят о нем, радуются «счастливому устройству аудиториата» у него: «недостает только речей обвинителей и защитников, а то перенеслись бы мысленно в парламент, где безбоязненно справедливость защищает права народа свободного»⁵. И хотя позднее он говорил обидевшемуся Воронцову, что это были лишь шутки, на деле за иронией скрывались весьма серьезные разногласия по кардинальным вопросам жизни страны.

В 1817 г. Ермолов ответил Закревскому на его замечания о деятельности Воронцова: «Вижу... что немало и побегов и суды беспорядочные. Это предзнаменование, что при выходе корпуса из Франции порядочно *шарахнутся* его легионы, и он сам немало будет тому причиною, ибо многие приказы прочитываются у него в ротах такие, о котором мог бы солдат и не знать никогда. Я согласен с тем известием, о котором пишешь ты, что у него ослабевает дисциплина и иногда сказывается непослушание. Он русского солдата трактует на манер иностранный! Он ударился в законы и беда!»⁶

Упреки уже знакомые. Снова спор.

Впрочем, на первый взгляд, этот фрагмент кажется не очень понятным. Сначала можно привычно связать побег и уверенно прогнозируемый Ермоловым рост их числа со строгостью Воронцова, с тем, что суды работают с максимальной нагрузкой (обычная точка зрения: побег как «пассивная» форма протеста против угнетения). Но продолжение мысли Ермолова заставляет задуматься. Он обвиняет Воронцова в мягкотелости, потворстве солдатам, ибо дисциплина ослабела. Как же иначе можно распустить солдат? Мы привыкли к тому, что бегут только от жестокости. Но побег как следствие слабости командования?! Между тем Ермолов прямо связывает падение дисциплины, во-первых, с тем, что солдаты получают информацию, о которой им знать не надо («гласность»), и, во-вторых, с тем, что Воронцов «ударился в законы», что отчасти пересекается с первым. То есть «русского солдата трактует на манер иностранный».

А как же «трактует» его сам Алексей Петрович?

В 1818 г. он был взбешен тем, как несли сторожевую службу казаки («на пикетах спят, как на квартирах»), и сообщал Закревскому, что у него «в большом ходу плети», которыми он «наделяет» провинившихся. С офицерами разговор был иной: он предупредил их, что если найдет кого-либо спящим в постели, то тоже накажет плетью «под видом, что драбант забрался в постель офицера». Конечно, никакому генералу не понравится,

что часовые спят на посту. Но ясно и то, что телесные наказания офицеров-дворян (а казачьи офицеры были таковыми) никакими законами предусмотрены быть не могут и даже наоборот. Но Ермолов считал их единственно возможными в тех условиях. Далее он говорит, что обратился с ходатайством о предоставлении ему права лишать чинов офицеров иррегулярных войск и инверцев «по приговору военного суда». При этом Ермолов хорошо понимает, что этим теряет преимущество, которое он имеет в сравнении со многими другими начальниками — привязанность офицеров, но уверяет Закревского, что его «к тому понудила самая необходимость»^{7*}. Другими словами, Ермолов не «алчет крови», а хочет только напугать, ибо «здесь без страха ничего не сделаешь» (это один из любимых ермоловских оборотов кавказского периода).

Н.Н. Муравьев-Карский приводит красноречивый эпизод, который показывает, какую информацию Ермолов утаил от Закревского. Горцы вырезали несколько казаков на пикете. Оставшиеся в живых были жестоко наказаны плетьюми. А их командира Ермолов позвал в свою палатку и, сказав, что офицера плетьюми он наказать не может, собственноручно избил, повалил на землю, потоптал ногами и, выбросив из палатки, велел рыть яму, в которую приказал бросить избитого офицера живым. Казачьему полковнику Сысоеву удалось отговорить Ермолова, который, пишет Муравьев, вероятно, все же не закопал бы офицера, хотя яму рыть уже начали. Офицера из службы исключили⁸. Довольно трудно представить, чтобы нечто похожее совершил, например, Воронцов.

Достаточно показателен и такой фрагмент из ермоловских мемуаров, относящийся ко времени отступления русской армии в 1812 г.: «Желая знать дух солдата и мысли о беспорядках и грабежах, которые начали размножаться, посреди их в темноте, не узнаваемый ими, я расспрашивал: солдат роптал на бесконечное отступление и в сражении ожидал найти конец ему; недоволен был главнокомандующим, виновным в глазах его, почему он не русский. Если успехи не довольно решительны, не во всем согласны с ожиданием, первое свойство, которое русский солдат приписывает начальнику-иностранцу, есть измена, и он не избегает недоверчивости, негодования и самой ненависти. Одно средство примирения — победа! Несколько их дают неограниченную доверенность и любовь»⁹.

Такой несколько ироничный, насмешливый подход очень характерен для Ермолова, и не только для него. Он несколько

* Примечателен конец этого фрагмента: «Здесь без страха ничего не сделаешь, а надобно только весьма небольшое число строгих примеров. Верь... что сколько я ни строг, но не легко, однако же, мне делать несчастных, ибо я сделал над собою самим полезный опыт, как тяжело переносить несчастье» (РИО. Т. 73. С. 289).

не противоречит искреннему восхищению русским солдатом, его личными и боевыми качествами, чему есть множество свидетельств. Однако Ермолов не склонен закрывать глаза на то, что уровень культурного развития русского солдата предполагает отличную от западной дисциплинарную практику. Ермолов относится к солдату иногда с одобрением, иногда с восхищением, иногда с умилением, иногда с уважением, но никогда не закрывает глаза на некоторую его недоразвитость что ли, требующую особого подхода. Понятно, что таково же и мнение Ермолова о русском народе в целом, и именно тут коренится его взгляд на преобразования в России.

Теперь можно повторить вопрос: а что же так раздражает в отношении Воронцова к солдатам, заметим, не Аракчеева и не Клейнмихеля, а его ближайших друзей, ненавидевших Аракчеева и всю жизнь стремившихся облегчить долю русского солдата?

Разве Ермолов, Закревский и Киселев считали, что полезно бить солдат «за ничто по своевольству»? Нет. Еще раз подчеркнем, «брат Михайла» отнюдь не был мягкотелым командиром и не потворствовал «дурным поступкам» подчиненных. Неужели трактовка «русского солдата на манер иностранный» заключается только в регламентации наказаний и в расширении служебного кругозора солдат? Видимо, так.

Мысли Воронцова, на наш взгляд, текут в таком направлении: армия не может обойтись без крайних мер. Экстремальность самих понятий «война» и «армия» подразумевает, что и методы управления тысячами людей, которые не просто живут вместе, но обязаны быть единым целым, механизмом, если угодно, и притом ежедневно должны рисковать жизнью, — эти методы могут, хотя и не обязательно, быть экстремальными. Весь вопрос в мере, в степени. Строгость и «тиранство» — разные вещи. Но как их различить? Ведь то, что Воронцов считает строгостью, кому-то покажется мягкотелостью, и наоборот.

Поэтому нужен закон, нужна законность. Отсутствие строгого закона плодит беззаконие. Вспомним, что и Сабанеев, и Раевский разными словами говорят одно и то же: нужен закон, ибо положиться на «моральность» начальников нельзя.

Знаменательно, что вопреки всем прогнозам «воронцовские легионы» нимало не «шарахнулись» при выходе из Франции, что отдельные части корпуса оказались не так уж плохи (писал же Киселев, что не понимает, почему «до такой крайности опорочили войска, из Франции возвращающиеся»). Даже и в 1822 г., несмотря на полемический запал, Киселев признает, что «Воронцов во многом не успел», но это ведь означает, что в чем-то и успел! Следовательно, не так уж неверна была его метода! А разве атмосфера отношений между солдатами и офицерами, царившая в Семеновском полку до прихода Шварца, не исключила практически дисциплинарные проступки из жизни полка?

Здесь мы сделаем несколько неожиданный переход. Когда в 1912 г. прогремели залпы на Ленских приисках, один из виновников «ленского расстрела», член правления компании «Лензото» Тимирязев, бывший министр торговли и промышленности, в интервью заявил, что забастовка носила политический характер, и в доказательство привел требования рабочих, среди которых было и требование обращаться к ним на «вы». Не нужно пояснять, как были возмущены такой беспардонной наглостью все нормальные люди в стране. На следующий же день в газете «Русское слово» появился фельетон В. Дорошевича «Тимирязев-Ленский», а в 85-м номере газеты по этому же поводу высказался Кугель, писавший под псевдонимом «Хомо Новус»: «Фраза г. Тимирязева по поводу ленской трагедии, что, дескать, забастовка была политической, потому что забастовщики в числе пунктов выставили требование «вежливого обращения» — без сомнения, фраза классическая. Она классическая по совершеннейшей наготе своей, а не по нелогичности или нелепости. Эта мысль совершенно правильная, но только бесстыжая, потому что выдает сокровенную надежду сделать из «политики» орудие плантаторства и крепостного права. Но истина в том, что самосознание общественного класса прежде всего выражается в пробуждении чувства собственного достоинства, и с такой точки зрения «вежливое обращение» есть первый шаг политического выступления»¹⁰.

Все это имеет прямое отношение к нашим сюжетам. Негодование Киселева и Закревского по поводу «фальшивой филантропии» Орлова понятно. Более того, они верно устанавливают связь между отношением к солдату как к *равному*, как к человеку, имеющему такое же достоинство, что и генералы Воронцов, Орлов, Киселев и т.д., и их возмущением несправедливостью начальства. Ибо такое отношение и пробуждает в первую очередь чувство собственного достоинства, которое когда-то так умилило Сабанеева в казаках. Именно это чувство, воспитанное либеральными офицерами-семеновцами, побудило восстать солдат, которых при Шварце заставляли плевать друг другу в лицо. Так что в действиях офицеров этого полка, как и самого Орлова, и вправду содержался «революционный» элемент, если признать, что «самосознание общественного класса прежде всего выражается в пробуждении чувства собственного достоинства».

В очно-заочном споре Ермолова с Воронцовым Киселев на стороне последнего. Состояние судопроизводства в армии его постоянно волнует. Как и Михаил Семенович, он озабочен слабой подготовкой аудиторов; найти «наборщика трезвого хоть одного» для типографии 2-й армии Закревскому оказалось проще, чем юриста, «дела знающего и со слогом». Киселев интересуется устройством аудиториата в 1-й армии. Он согласен с Воронцовым, что необходимо увалить жалование аудиторам: «Не забудь, что

если требуют от нас строгости, то надо дать и способы несколько оказывать услуг, а без того требование наше от подчиненных окажется тягостным и дела не пойдут должным образом». Убежден Киселев и в необходимости регламентировать наказания. Рекомендуя Закревскому французскую книгу по военной юстиции, он пишет: «В ней найдешь много хорошего: ясная *номенклатура* преступлений и наказаний заслуживает внимания». Правда, «не должно слепо принимать чужестранные постановления, но необходимо следует знать, что у других было сделано по той части, по коей призван заниматься»¹¹.

«Судная часть меня очень занимает, и желал бы привести оную в лучшее состояние... французскую книгу по сей части я куплю для соображения и полезным займусь. Беспрестанные занятия по службе не дают случая заняться в свободное время серьезными делами»¹². Мы видим, что и Закревский — не противник реформы судопроизводства. Но нет времени, нет людей, т.е. помощников, да и сам он, видимо, не готов к роли реформатора законодательства. Кроме того, говорит Закревский, для реформы нужно благожелательное «чтение вышних», а таковое отсутствует. И посему господствует «жестокость и произвольность, ни с каким временем не согласные», вместо законов — циркуляры, а законом называется «приказ о непоказывании галстуха». И Власть это положение устраивает.

Нельзя в связи с этим не вспомнить изумительно верное замечание, сделанное М.С. Луниным, когда он увидел в кабинете иркутского генерал-губернатора 40 томов Полного собрания законов Российской империи, а рядом — томик Наполеонова кодекса: «Как смешны эти французы; все свои права имеют в такой маленькой книжке! Кто только посмотрит на эти полки, сейчас же предпочтет наше законодательство»¹³. В этих горько-ироничных словах — целый пласт жизни России, дотянувшийся и до нас.

А Ермолову, кажется, ближе 40 томов ПСЗ. Русский солдат не может оценить нормирования наказания, а закон это подразумевает. Ермолов, который никогда не был жесток с солдатами, тем не менее считает, что вредно переносить отношения между командиром и подчиненными в область законности. Потому что в этом случае и начальники, и подчиненные «обязаны» закону. Тем самым, разумеется, с тысячью оговорок, и солдат, и генерал оказываются равны перед законом, хотя бы и законом о телесных наказаниях. А вот этого-то и нельзя допускать. Ибо тогда командир лишается нимба всемогущества, что вредно для службы. Ибо страх солдат должен быть постоянным, абсолютным, безграничным, а возможные действия начальника — непредсказуемыми. Потому что «наше правление отеческое, патриархальное». А ребенок, особенно провинившийся,

подходя к отцу, не должен знать, пожурят ли его слегка и погладят по головке, или же дадут тумака.

Что лучше для казачьего офицера — быть избитым лично генералом от инфантерии и кавалером или пойти под суд?

Такие вопросы каждый решает для себя сам. Для Ермолова первый вариант, видимо, предпочтительнее.

Излишне напоминать, что Ермолов не защищает садистов. Просто страх, точнее, СТРАХ — универсальное средство управления Россией.

«И чтобы боялся поставленных над ним начальников».

«Страх гораздо действительнее, гораздо обыкновеннее всех иных побуждений для смертных». Воистину смертных.

«Здесь без страха ничего не сделаешь».

«Здесь» — это очень много. «От Перми до Тавриды», от Тифлиса до Акатуя. Все это — «здесь».

И уж совсем непростительно, по мнению Ермолова, менять «здесь» положение, при котором «офицеры от чистого сердца верить не могут еще, чтобы солдат мог быть когда-нибудь прав», и, наоборот, солдат не мог не верить, что офицер когда-нибудь может быть неправ. А из приказов Воронцова они узнают, что и офицеров наказывают за проступки, что и на них есть управа. А это опасно, ибо солдат начинает видеть мир по-другому, в другом измерении, начинает сознавать возможность *другой* жизни. Просвещать, образовывать можно ведь не только ланкастерской методой. А где просвещение, там и свобода.

Кстати, о просвещении.

Логично было бы предположить, что усилия, предпринимаемые нашими героями на ниве солдатского просвещения, соответствуют той темпераментной удрученности, с которой фиксируется печальный факт необразованности солдат. Взгляды и практика Воронцова нам уже известны.

Уже говорилось, что еще в июне 1819 г. Киселев отправил князю Волконскому письмо относительно открытия ланкастерских школ во 2-й армии. «Основная мысль, — сообщает он Закревскому, — что просвещение необузданное, как и мрачное невежество, имеет свои неудобства»¹⁴. Примечательные слова! На первый взгляд эта афористичная фраза обладает свойствами плохого плаката — она профанирует, снижает идею настолько, что та как бы лишается смысла. Вот слова «мрачное невежество» понятны. А как просвещение может быть «необузданным»? Это говорит уже словно бы не Киселев, а Скалозуб.

Между тем здесь, на наш взгляд, отражена вполне либеральная мысль о необходимости органичности, постепенности, осторожности приобщения к культуре. В самом деле. Ликбез — а у солдат не было возможности подняться выше — антипод просвещения. Мы сегодня отлично знаем, что научить человека грамоте вовсе не значит сделать его образованным. Уметь прочесть

передовицу или лозунг — не значит быть культурным. Радость от самого процесса чтения весьма часто полностью застилает содержание лозунга. А эффект от этого бывает такой, что лучше бы человек «грамоте не умел» вовсе. Неизвестно, правда, в какой мере это было известно Киселеву, но во всяком случае занятия В.Ф. Раевского с солдатами в ланкастерской школе должны были дать ему повод для размышлений и на эту тему тоже.

Чрезвычайно показателен категоричный совет Закревского, который он дал Киселеву в разгар следствия над солдатами-семеновцами: «Школы заводи только на нужное число письменных людей и не распространяй на всю армию»¹⁵. Это — эпитафия, точнее, один из эпитафиев к мышлению целого класса. Это ключ к пониманию многих российских проблем. Ибо, несмотря на вековые разговоры о непросвещенности русского народа, дворянство (за редкими исключениями, вроде Воронцова) практически ничего не делало для того, чтобы просветить народ. И поэтому его «никогда нельзя было освобождать».

Приведенная мысль Закревского и отрицание Ермоловым практики Воронцова, таким образом, тесно связаны. Как ни парадоксально, ценимая ими выше всего военная мощь Империи оказывалась для них неотделимой от неграмотности, от забитости «нашего солдата», который устраивал их только таким, каков он есть: мужиком, сменившим армяк на мундир, лапти — на сапоги, барина — на офицера. В этом — залог могущества России. Главное, чтоб барин оказался добрым. «Правление наше отеческое, патриархальное»...

Легко видеть, что восприятие Ермоловым и Закревским солдатской проблемы в целом совпадает с их отношением к возможным реформам. Ибо переход от патриархального управления армией к управлению, основанному на твердой законности, а значит, на просвещении нижних чинов, — это калька аналогичного перехода в масштабах всей страны. Всемогущему командиру соответствует всемогущий царь. Законы не главное, хватает и циркуляров. А тот Закон, который стал бы своего рода армейской конституцией, не нужен, как не нужна и конституция России.

«МЯТЕЖ НЕ МОЖЕТ КОНЧИТЬСЯ УДАЧЕЙ»

Давно замечено, что бывают годы, когда человечество как бы коллективно сходит с ума. Например, 1648—1649 гг., когда в Англии происходила революция, окончившаяся казнью Карла I, во Франции — Фронда, в Речи Посполитой — страшная война на Украине, в России — «Соляной бунт» и другие городские восстания. Год 1820-й, хотя впечатляет и меньше, но тоже несомненно из таких: революция в Испании, затем в Неаполе,

Сицилии, Пьемонте, Португалии; одними романскими народами не обошлось — возмущение семеновцев в Петербурге, восстание в Грузии, а в 1821 г. — антитурецкое восстание в Валахии и Греции. К этому нужно добавить постоянные заговоры против Бурбонов, заставляющие Волконского в очередной раз ужасаться: «...такой век, что каждый день должно ожидать чего чрезвычайного». Неудобство жизни в «таком веке» мы сейчас тоже хорошо представляем.

«Слава тебе, славная армия гишпанская! Слава гишпанскому народу! Во второй раз Гишпания показывает, что значит дух народный, что значит любовь к отечеству», — писал в 1820 г. Н.И. Тургенев. Как известно, военные революции 1820 г. оказали весьма серьезное влияние на российских заговорщиков. Помимо восторженных эмоций они дали *пример*, живой, реальный пример. Можно было рискнуть, или, цитируя М.Ф. Орлова, «пошутить». Проницательные представители старшего поколения вовремя почувствовали опасность.

Как уже говорилось, 1820 год был трудным для Ермолова: восстание в Имеретии стоило много сил и крови, притом, напомним, он не был виноват и пытался предупредить взрыв. События в Европе, как обычно, занимали его и дали повод для актуального сравнения: «Я как житель Азии говорю вам о бунтах, но вы, просвещенные обитатели Европы, вы то же делаете, только что у вас слово «бунт» заменяется выражением «революции». Не знаю, почему это благороднее. Однако же и при сем том в Гишпании возмутились войска, к ним пристал народ, и то, что приличествовало испросить у короля, у него вырывают силой. Прекрасные способы! Хороши и написанные к нему письма! Какой неблагоразумный поступок оскорблять то лицо, которое и при перемене правления должно остаться первенствующим. Это — приуготовлять собственное уничтожение! Скажите, сделайте одолжение, вас что заставляет все эти мерзости печатать в русских газетах? Неужели боитесь вы отстать в разврате от прочих? Нам не мешало бы и позже узнать о подобных умятованиях, которые, конечно, ничего произвести не могут, но нет выгоды набить пустяками молодые головы. А французская наша газета еще лучше: в ней написана даже королевская присяга, которую посовестились перевести в «Инвалиде»¹.

От комментариев пока воздержимся. 30 ноября 1820 г. Ермолов в письме к близкому другу военных лет Кикину вновь обращается к европейским революциям. Это письмо существенно уточняет ермоловские представления о революции, об отношениях между армией и Властью: «Что за вздоры происходят у вас в мире просвещенном? Головокружение хуже чумы нашей, а укрощать и ту болезнь не легче; у нас та выгода, что восстающих против законной власти и разрушающих установленный порядок просто называют бунтовщиками и их душат, ибо напрасен труд

вразумлять нерассуждающих, а при переворотах таковыми являются большая часть людей; движущие же пружины в малом всегда числе или многосложная машина сама собой повреждается. Не нравится мне новый характер революций, производимых армиями. Если сии последние способствовали иногда властолюбивым удерживать народы в порабощении, то сколько же раз были оградой внутреннего царства спокойствия, благоденствия народов. Не в нынешние времена могут быть армии слепыми орудиями власти, следовательно, не им приличествует содействовать разрушению оной! Просвещение открывает народам пользу их, изучает властителей не пренебрегать общим мнением, и довольно! Кто ныне не понимает, что лучше сегодня дать добровольно то, что завтра может быть вырвано насильем. Достоинство есть свойственный вид власти, ей приличествует дар добровольный, не совместно соглашение, а народы не менее воспользоваться могут им принадлежащим»². Итак, Ермолов оценивает военные революции однозначно отрицательно. Вспоминаются строки из его письма Воронцову о высадке Наполеона в 1815 г.: «Какой ужасный дал Наполеон урок презирать народы тому, у кого в руках войско. Неужели мы в 19-м живем веке!» Понятно, что он не раз задумывался над проблемой отношений между армией и правительством: все события европейской истории конца XVIII — начала XIX в. подталкивали к этому. Складывается впечатление, что он сделал свой выбор — кому он служит и как будет удовлетворять свое честолюбие. Эти строки показывают его негативное отношение не только к военным, но и к любым революциям вообще: «Просвещение открывает народам пользу их, изучает властителей не пренебрегать общим мнением, и довольно!» Остальное, надо полагать, дело времени, торопить которое, во всяком случае, не военным. Примечательно ермоловское суждение о том, что соглашение с народом (бунтовщиками) «не совместно», «не приличествует» Власти: она должна давать народу необходимое, не дожидаясь бунта. Мысль и тогда неоригинальная (вспомним, к примеру, Сперанского), но от того не менее верная. К слову, Ермолов как представитель верховной власти на Кавказе старался действовать именно таким образом, достаточно умело сочетая «кнут и пряник».

«Владыкам, собравшимся на конгресс в Троппау, нельзя терять столько времени, как на конгрессе в Вене. Соседний Франции пожар неблагоприятен. Гишпанцы не взяли за образец хартию Людовика XVIII, следовательно, можно думать, что есть что-нибудь лучшее. Напрасно возлагать надежды спокойствия на одном рождении герцога Бордо. Он долго не будет полезнее напиток сего имени, а это немного!»³ Фактически Ермолов говорит о необходимости вооруженной борьбы с революцией в Испании. И это понятно. Он, как и Волконский, боится — и справедливо,

— что пример окажется заразительным, а повторения «Ста дней» в каком бы то ни было виде ему не хочется.

В историографии существует мнение, согласно которому Ермолов, «несмотря на возможное назначение главнокомандующим армией, направляемой для подавления восстания в Пьемонте... не скрывал своего одобрительного отношения к справедливой борьбе итальянского народа»⁴. В доказательство приводится цитата из письма его к Денису Давыдову от 3 марта 1821 г.: «Если австрийцы должны будут укрощать оружием порывы к свободе своих владений в Италии, их ожидает война народная»⁵. Попробуем, однако, оценить эти строки в контексте всего письма. Давыдов, услышав о грядущей войне, размышляет о возвращении на службу, а Ермолов пытается оценить возможные варианты. Давыдов полагал, что воевать придется с Турцией, Ермолов говорил, что куда реальнее война в Италии, ибо уже было известно, что Александр I обещал свою поддержку Австрии, и, «хотя взят уже Неаполь, позволительно думать, что дурное состояние Северной Италии не заставит пренебречь помощью». Далее следуют приведенные выше строки о «порывах к свободе» и «войне народной». Но примечательно продолжение: «Если верно, что пиемонцы обратились на занятие Милана, будет война единодушная, и не австрийцам удобно преодолеть мнение. Ежели будем содействовать им; по количеству движущихся войск надобно ожидать отдельного действия, следовательно, авангарда числом значительного. Партизаном в войне народной быть неудобно, в твоем чине надобно иметь большую команду; войско вспомогательное не может иметь такой конницы, от которой можно бы было отделять большую часть. Ежели решаешься просить Государя о назначении тебя на службу, мое мнение не стеснять выбором его непосредственной воли»⁶. Хотя не совсем ясно, чем «война народная»^{*} отличается от «войны единодушной»^{**}, в этом анализе будущей интервенции и советах ее возможному участнику-генералу чувствуется не столько одобрение революции в Италии, сколько нескрываемая неприязнь к Австрии — чувство для русских дворян достаточно обычное. Это подтверждают и следующие строки из цитированного уже письма Кикину: «Неаполитанцы прикидываются, будто чувствуют себя людьми; впрочем, для беспорядков много годных инструментов, и если ладзарони возмечтают, что революция может дать им лучшую пищу, нежели

^{*} Что понималось под «народной войной», явствует из следующих слов Давыдова: «Во всех войнах в Азии, где каждый житель есть вместе с тем воин, и в Европе во время народной войны, когда гарнизоны, вспомоществуемые жителями, отражают неприятеля, всякий приступ неминуемо сопровождается кровопролитием». И в качестве примера — штурм Суворовым Праги в 1794 г. (*Давыдов Денис*. Военные записки. М., 1940. С. 43).

^{**} Видимо, речь идет об общеитальянском восстании против Австрии.

излавливаемые в море черви, то и ими пренебрегать не должно»⁷. При всем желании здесь сложно увидеть симпатию к революционерам. Полагаем также, что и помощь служившему некоторое время на Кавказе испанскому революционеру Хуану Ван-Галену никоим образом не говорит о «двойственном отношении Ермолова» к испанской революции.

Наконец, ермоловская проекция европейских событий на Россию. Хотя он и ошибался, когда писал, что испанский пример ничего у нас произвести не может, но безусловно был прав, считая, что «нет выгоды набить пустяками молодые головы». Здесь у Ермолова интерес вполне конкретный, к тому же он по себе знал об этих сюжетах немало. Времена, правда, изменились. Н.И. Тургенев отмечал «благородство инсургентов», в то время как Ермолов имел прямо противоположное мнение, но куда более важным представляется другое расхождение между ними. Тургенев считает, что высшее проявление народного духа и любви к Родине состоит не только в сопротивлении иноземной агрессии, но и в борьбе с деспотизмом, в завоевании свободы для своей страны, а Ермолов никогда и не подумает сравнивать 1812 г. с какими бы то ни было попытками изменить существующий строй.

* * *

В 1821 г. единственным холостяком из героев нашего рассказа оставался Ермолов. Закревский в 1818 г. женился на графине Аграфене Толстой, а Сабанеев — просто увел жену у живого мужа. Воронцов в 1819 г. женился на графине Елизавете Браницкой, наконец в 1821 г. Киселев стал мужем графини Софьи Потоцкой. Закревский женился в 32 года, Киселев в 33, Воронцов в 37, Сабанеев в 46 лет. Генералы на четвертом десятке и юные генеральши 10—15 годами моложе — явление тогда вполне обычное. Не будет, видимо, ошибкой сказать, что с титулованными невестами генералам не слишком повезло. Напомним, что графини Воронцова и Закревская занимают определенное место в истории не только пушкинистики, но и отечественной словесности вообще. Неудачен был и брак Киселева.

Ермолов, убежденный и закоренелый холостяк, не был женат до конца дней. В 1819 г. он писал Закревскому: «С того времени, как ты женат, нападаешь на меня, чтобы и я женился также. Между нами в сем случае есть некоторая разница. Мне уже перешло за сорок, ты молод; мне еще надобно выбирать жену и Бог знает, на какую попаду, а тебе он уже дал и молодую, и хорошую, и любезнейшую, которая тебя любит... Жаль мне, что я старею, а то взялся бы я за детей ваших и им принести пользу было бы большим наслаждением. Ты говоришь о потомстве. До такой степени не простираю я моего самолюбия. Граф

Румянцев был не я — и что после него осталось? Молодой Суворов с наилучшими качествами его не заменил бы бессмертного отца своего! Много ли у нас отличных людей из фамилий знаменитых, а отцы заботились о потомстве, ибо фамилии существуют. Дай Бог свой век прожить порядочно, не забываясь, будет ли сын мой *пачкать* имя мое или возобновит его в памяти других. Было время, что, не помышляя о потомстве, имел бы я его, ибо весьма близок был от женитьбы, но скудное состояние с моей стороны и ее бедность не допустили меня затмиться страстию. Чтобы из меня теперь вышло? Я, как и ты, имею правило ничего не просить, а дать мне, может быть, не догадались бы, и я теперешнюю свободу променял бы на всегдашнее сетование. Теперь нет богатейшего человека в мире! Итак, друг любезный, дай некоторую цену тому, что я люблю тебя, как брата, и прости мне, что не будет у меня сына, который бы любил тебя столько же!»

Никто не знает будущего, и извинение Ермолова оказалось преждевременным. Через пять лет, в 1824 г., он сообщит Закревскому: «Я обогатился ими (детьми. — М.Д.). Трое налицо и готовится четвертый. У меня всегда сыновья, и это еще счастье!» Все сыновья Ермолова были рождены вне брака, он усыновил их, дал свою фамилию и дворянство. Прав он оказался в одном: ни его дети, ни дети его друзей с «наилучшими качествами» своими не заменили отцов. Впрочем, это уже другая история.

ПОХМЕЛЬЕ НА ЧУЖОМ ПИРУ

1820 год был переломным для Александра I. Перелом этот начал обозначаться раньше, но именно в 1820 г. он стал фактом. Среди причин его были, видимо, и разочарование в попытках проведения реформ, которые наталкивались на глухое, но от того не менее мощное сопротивление русского дворянства, не желавшего понимать своего императора, и определенное разочарование в польской программе — поляки почему-то не чувствовали себя счастливыми и, кажется, не были склонны ценить те усилия, которые затратил Александр на «восстановление» Польши. Были и другие причины. Идея тайных обществ, опутавших, как спрут, всю Европу, в том числе и Россию, совершенно овладела Александром. Заговорщики мерещились ему повсюду. Сначала донос Грибовского, затем восстание Семеновского полка, которое окончательно толкнуло царя вправо, как любят говорить историки, «в объятья Меттерниха».

Письма Волконского Закревскому довольно точно отражают настроения, владевшие Александром. В них постоянно варьируется одна и та же тема — заговоры, революции и революционеры, которые везде, и в России тоже. Так, 30 января 1821 г. он

сообщает, что неаполитанцы, в очередной раз сбросившие с престола своего короля, видимо, не будут сопротивляться австрийцам, а в Лувре в один день произошли два взрыва, не причинившие, однако, никакого вреда. «Все сие доказывает, сколько там злых людей, которые не могут быть спокойны и желают каким-нибудь только способом производить общее беспокойство. В Испании дела также идут ужасно плохо, одним словом, мы живем в таком веке, что каждый день должно ожидать чего чрезвычайного. Секретные общества иллюминатов ужасно увеличиваются и распространяются повсюду, им ничего нет невозможного и ничего у них нет святого, только и мыслят уничтожение всех властей и произведение общих беспокойств. Число их так велико, что и у нас очень много, и даже в войске и в разных должностях, почему и нужно обращать всевозможное внимание к открытию таковых извергов для удаления их»¹. Заметим, «извергов» надо не уничтожать, что кажется нам более естественным, а только «удалять».

Император, выдавая нежелаемое за действительное, был убежден, что существует единый центр подрывной деятельности, находящийся во Франции, что все тайные общества связаны между собой. Поэтому он считал, что, подавляя революции в Европе, борется и против революции в России. «Нельзя ни питать надежды, ни заключать сделку с революционерами всех стран, центр которых у вас. Они хотят падения всех тронов и разрушения общественного порядка», — говорил он французскому послу в России графу Лаферроне в июле 1821 г.²

Троппау-Лайбахский конгресс (20 октября 1820 г. — 12 мая 1821 г.) узаконил интервенцию как средство борьбы с революционным движением народов Европы. Случай применить ее на практике представился немедленно. Когда вспыхнули революции в Пьемонте и Неаполе, Александр без колебаний предоставил в помощь австрийцам 100 тыс. русских солдат. Командующим армией был назначен Ермолов, в начале 1821 г. отправившийся по служебным делам из Тифлиса в Петербург. Вызов в Лайбах (Люблян) он получил уже в дороге и еще некоторое время не знал, зачем его вызывают. Но ехал он долго, так долго, что некоторые исследователи даже полагают, будто он сознательно тянул время, чтобы не командовать подавлением революции (хотя дело было вовсе не в том, когда Ермолов приедет в Лайбах, а в том, когда русская пехота подойдет к Апеннинскому полуострову). Уже в Австрии, проехав «злойейской дорогой», которая «может сносною казаться одному спасающемуся от виселицы», он получил известие о том, что в Италии все кончено. «Не можешь себе вообразить, как я рад, и я думаю, первый еще главнокомандующий с такими чувствами. Люблю, друг почтенный, пользу моего отечества и о своей не помышляю», — писал он Закревскому: если войска еще идут к границам, то их успеют остановить

и «матушке России не столько будет стоить, как пустой поход заграничный»³.

Первый и последний раз в жизни Ермолов получил под свою команду настоящую, не кавказского размера армию. Судьба не привела его быть палачом Итальянской революции; не хочется гадать, насколько неприятно было бы для него командовать армией, выполняющей именно эту задачу. Впоследствии Ермолов говорил, что опасался *дебюта* на сцене, где до него выступали Суворов и Наполеон. Кто знает? Что несомненно — он был рад экономии средств «матушки России» в этом случае, как, впрочем, и всегда. Ясно и то, что на фоне весьма распространенного в обществе недовольства интервенционистскими планами Александра чувство облегчения у Ермолова не выглядит слишком искусственным. Война в Италии была совершенно непопулярна; Васильчиков писал царю, что гвардейские офицеры не хотят воевать за австрийцев⁴. Общие чувства выразил П.А. Вяземский: «Война с Неаполем была бы злодейство... Неужели Петр Великий пустил Россию в Европу, чтобы преемникам его было всегда в чужом пиру похмелье... Дострой свой дом, а потом иди чинить чужие дома. Образуй, просвети, разреши Россию, и тогда она сама, не суясь ни в Троппау, ни в Лайбах, существенною, нравственною силою своею будет безапелляционным посредником европейских судеб»⁵.

«ИСТОРИЯ ПРОСЛАВИТ НАШЕ ВРЕМЯ»

Событием, которое резко обозначило новый этап расхождения между царем и мыслящей частью общества, стало восстание в Греции против турецкого ига. В России его встретили восторженно.

«Дело не на шутку, крови прольется много и, кажется, с пользою для греков. Нельзя вообразить себе, до какой степени они очарованы надеждою *спасенья и вольности*. Все греки южного края, старые, как молодые, богатые и бедные, сильные и хворые, все потянулись за границу, все жертвуют всем и с восхищением собою для отечества. Что за время, в котором мы живем, любезный Закревский? Какие чудеса творятся и какие твориться еще будут. Ипсилантий, перейдя границу, перенес уже имя свое в потомство. Греки, читая его прокламацию, навзрыд плачут и с восторгом под знамена его стремятся. Помогите ему Бог в святом деле, желал бы прибавить — и Россия», — с редчайшим для него воодушевлением писал 14 марта 1821 г. Киселев Закревскому. В ответном письме есть приписка Ермолова, для которого такой стиль был гораздо привычнее: «Воскресающая Греция дает теперь вам достойные занятия. Видел из письма Закревскому, что события воспаляют сердце героя, желающего лететь на помощь стране

знаменитой. Жалеть буду вместе с вами, если пламень грехов угашен будет их собственной кровью. Дай Бог им успеха»¹.

Идея поддержки единоверных греков, как и южных славян, всегда была в высшей степени обаятельной для российских патриотов. Политика правительства, за редкими исключениями, удобно вписывалась в воодушевление, сопровождавшее эти настроения русского общества. Однако в 1821 г. как раз имело место это самое редкое исключение. В период русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Россия пыталась поднять Балканы против турок. Тогда это не удалось. Теперь же, почти полвека спустя, у России имелась великолепная возможность если и не реализовать идеи Екатерины и Потемкина, то по крайней мере существенно ослабить извечного соперника — Турцию. При этом совершенно очевидно, что эта война была бы столь же популярной, сколь непопулярной была бы война в Италии. Бог весть, как повернулась бы история России, если бы царь *решился*.

Но этого не произошло. Александр воспринял восстание в контексте общего взрыва революционного движения начала 20-х годов, т.е. как диверсию против принципа легитимизма (это в отношении Турции!) и остался верен Священному союзу. Подданные его жаждали войны, готовились к ней, но время шло, царь вел переговоры, точнее, бездействовал, а турки свирепствовали тем сильнее, чем спокойнее была Россия. Письма этих месяцев прекрасно демонстрируют то возбужденное, нервное настроение, в котором находились наши герои и которое, конечно, отражает настроения общества в целом.

«Турки с нами поступают, как с подвластными им татарами... Сабанеев, у которого я в гостях, бурлит ужасно, смотря на соседство турок. Уверяет, что, наконец, увидят, что фронтовые забавы суть забавы и проч.», — пишет Киселев Закревскому. Сабанеев негодует: «Мерзавцы-соседи наши делают свое дело, продолжают грабежи, насилия, не позволяют снимать хлеба... В апреле, мае, июне могли бы быть на Дунае и без труда овладеть крепостями и устьем Сулинским, необходимым для флотилии. Тогда, остановясь по Дунаю до Черновод, а оттуда до Кюстенджи по Троянову валу, можно бы заставить турок говорить по-русски. Теперь! Теперь! Какая разница! Тогда все выгоды были на нашей стороне, теперь все неудобства, и чем позже, тем хуже»².

Но Закревский, которому адресованы эти строки, знал больше своих друзей и писал, что войны, возможно, не будет совсем, «ибо есть большое желание остаться в мире, несмотря, что турки оскорбляли русских и тем унижают наше величие перед прочими державами. Дай Бог, чтобы все шло к лучшему, а по порядку и деятельности, ныне существующим, ничего хорошего ожидать нельзя. Надо быть здесь, видеть и потом судить, чего Россия может ожидать»³.

Эти выдержки не нуждаются в подробном комментарии: ход

мыслей авторов вполне понятен. Примечательны слова Закревского о том, что позиция правительства вредит престижу России. Нельзя пройти мимо его оценки существующих «порядка и деятельности» — это скоро станет одним из постоянных мотивов переписки.

Ермолов, вернувшийся в конце 1821 г. в Грузию, поначалу рассуждал о перспективе войны весьма абстрактно. Одно время ходили упорные слухи, что он будет командующим главной армией против турок, но поскольку он снова оказался в Тифлисе, то можно было догадаться, что или войны не будет, или командующим будет кто-то другой. Впрочем, после его «мнимого» главнокомандования в Италии назначение его командующим в Молдавии выглядело бы вполне естественно.

Однако постепенно Ермолов все больше раздражался, видя бездействие правительства. В феврале 1822 г. он замечает, что державы, особенно Англия, пытаются восстановить отношения между Россией и Турцией путем переговоров и намеренно их затягивают, чтобы истощить силы греков и представить Россию в невыгодном свете перед всем миром. И здесь уже достается Самому: «Кончится тем, что в греках, нам приверженных, оставим мы справедливое на нас озлобление! Я, как тебе известно, весьма несчастный политик и, конечно, о политике говорю вздор, но и без дипломатических глубоких познаний можно чувствовать свое достоинство. И я недаром принадлежу народу могущественному!»⁴

Имя царя здесь прямо не называется, но адресат понятен. Это снова тот случай, когда А.П. Ермолов, русский дворянин и русский генерал, не хуже А.П. Романова, русского императора, знает, что такое достоинство России и как его нужно подерживать.

«История прославит наше время и нам собственно отдаст должную похвалу. Уже целый год, как лютость турок христианские державы насыщают кровью греков и, кажется, не довольно», — пишет Ермолов Закревскому в марте 1822 г. Перспективу поездки царя на конгресс в Верону он оценивает скептически. Второе лицо в Министерстве иностранных дел России граф Каподистрия, грек по национальности, был незадолго до этого уволен. А Нессельроде смотрел на Меттерниха почти как на императора, поэтому Ермолов проницательно писал, что «теперь Меттерниху праздник»⁵.

Повторим: правительство могло воспользоваться взрывом сочувствия грекам, чтобы восстановить рвущиеся связи с лучшей частью общества. Причем не только с такими людьми, как наши герои, но и с декабристами, которые, судя по их отзывам о восстании в Греции, с радостью отвлеклись бы от своей внеслужебной деятельности. Войну с турками из-за греков России все равно пришлось вести, но уже шестью годами спустя, а это

не одно и то же. Победа в 1828—1829 гг. укрепила режим Николая I, очень нуждавшийся в такой победе.

Однако в 1821 г. эта возможность была упущена.

«ПОРЯДОК ДЕЛ В НАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ НИКОГДА НЕ УЛУЧШИТСЯ»

Не случайно, конечно, именно с 1821—1822 гг. у большинства наших героев наступил своего рода духовный кризис. Он проявлялся у всех по-разному и в разной степени, не всегда совпадал по времени и т.п. В меньшей мере им был затронут Киселев, о внутреннем состоянии Воронцова можно догадываться по отдельным намекам Сабанеева. Среди причин, вызвавших этот кризис, значительную роль сыграли индивидуальные, личные (в том числе и не очень удачные женитьбы Киселева, Закревского, да, пожалуй, и Воронцова), определенное значение имели и служебные неурядицы, но во многих плоскостях личное и служебное пересекались (вспомним прелестную в своей непосредственности мысль Закревского о том, что их личное благо всегда зависит от состояния службы). При этом у всех мы находим острое осознание того, что страна идет в неверном направлении, что все не так, как должно быть.

Вот Сабанеев, забытый в своем забытом Богом и людьми углом России, неизлечимо больной, но по-прежнему неукротимый: «Спрашиваешь меня, мой любезнейший Арсений Андреевич, весело ли я живу? Какие веселости для человека, уничтоженного, заслужившего невинно гнев Государя? Признаю тебе как старому приятелю и сослуживцу моему, что видимое нерасположение ко мне царя укрощает век мой, но никак не переменит правил моих. Я готов умереть на службе из обязанности быть полезным отечеству и признательности к прежним милостям Государя. Никогда не буду угождать Его Величеству со вредом для Него, никогда не буду лстить Ему и обманывать из собственной корысти, как другие. Пусть будут они Его временщиками, но я ни за какие милости не хочу обязанности моей, не хочу обманывать Его нигде, ни в чем и готов терпеть все»¹.

Тон Закревского, как бы державшего руку на пульсе Власти, мрачнел с каждым месяцем. Дело не исчерпывалось только тем, что у него резко ухудшилось здоровье. В определенном смысле ему было еще труднее, чем его друзьям. Они наблюдали за тем, что творилось в «верхах» издали, а он находился рядом с царем в течение многих лет. «Государь по приезде, конечно, должен заняться состоянием всех частей, которые в нынешнем положении остаться не могут и время покажет, что от сего произойдет невозвратное зло, которое ничем не в состоянии будут поправить», — писал он Киселеву еще в марте 1821 г.² А через два года,

получив восторженное письмо Киселева о свидании его с царем в Варшаве («я не могу нахвалиться милостию Царскою»), отвечал: «Многое ты говорил Государю и даже о таких предметах, которые до тебя не касаются. Все слушано, а сделано ничего, следовательно, лучше бы о сем ничего не говорить, ибо пользы от разговоров никакой быть не может, и все остальное и идет по-прежнему... Теперь вижу, что ты был так обворожён Белым, что совершенно был в чаду и от того легко думал... что все уже исполнено, в Варшаве сказанное. Ты сею поспешностию меня удивил, ибо известен тебе скорый ход дел и обещания, исполнение же всегда бывает тяжело и не скоро. Пора тебе побывать в Петербурге и видеть вещи, как прежде ты и видел, и как всегда мы оные теперь видим.

Все вышеописанное оставь между нами, дела наши очень трудно сходят с рук, и от того несчастные страдают, а я помочь не в силах. Мне кажется, порядок дел в нашем государстве никогда не улучшится, и потому трудно служить честным людям, которые думают не об личных выгодах, а о благоденствии своего отечества. Впрочем, как ни дурно, но дай Бог, чтобы Государь пережил всех нас, а без него какая будет надежда и что за происшествия могут постичь Россию. Как подумаешь о сем, то сердце содрогается³. Трудно выразиться яснее. Комментировать здесь нечего, кроме, пожалуй, заключения. Его, на наш взгляд, не нужно рассматривать как образец эпистолярного этикета. Просто «как ни дурно», а Константин Павлович на русском престоле еще хуже: «как подумаешь, то сердце содрогается».

Поездка в Лайбах как бы делит ермоловское «проконсульство» на два совершенно различных в эмоциональном отношении периода. 1816—1820 гг. — энтузиазм, планы, много надежд и остроумия, 1821—1825 и особенно 1826—1827 гг. — усталость, хандра, много трудностей и язвительность Гамлета, беседующего с черепом Иорика.

На обратном пути в Грузию Ермолов несколько недель провел у отца в Орле, откуда писал Закревскому: «Не поверишь, почтенный друг, как возрастает во мне охлаждение к службе и за какую несносную потерю почитаю я возвращение в Грузию... Разрешаю я слишком долго продолжавшееся заблуждение мое, что без службы существовать невозможно»⁴. Эти совершенно немыслимые прежде в устах Ермолова строки — своего рода пролог писем последующих лет. Именно с этого времени он стал рассматривать свое пребывание на Кавказе как ссылку. Тому, конечно, было несколько причин. Вызов в Лайбах, назначение «главнокомандующим, хотя мнимым», как будто предвещало производство из «проконсулов» в «консулы». Но этого не случилось. Обманутые надежды такого рода всегда чреваты разочарованием. К тому же возвращение на Кавказ, на край света, после годичной жизни на «большой земле», жизни, которую

он подзабыл за пять лет напряженнейшей деятельности, многомесячных походов в горы, постройки крепостей и т.д., не радовало. Почти в каждом его письме Закревскому встречаются высказывания такого рода: «угасли пламенные мои замыслы и многое уже кажется мне химерою»; «так все наскучило, скоро вам надобно будет отпустить меня, нет сил»; «служба смертельно начинает скучать мне»; «какая жизнь несносная»; «нет у меня другого желания, как жизнь свободная и покойная», и т.п.⁵

Ермолов все чаще говорит об отставке. Он начинает хлопотать о покупке подмосковной деревни, что при его скромных финансовых возможностях было совсем непросто. И то, что происходит в государстве, в сущности неотделимо от этого его состояния; не всегда можно понять, что в этой хандре первично.

Д.В. Давыдов, кузен Ермолова, быстро затосковавший в отставке, решил проситься к нему на должность начальника Кавказской линии. Место это было видное и гораздо более престижное, чем должность одного из многочисленных дивизионных командиров в европейской России. На линии не затихала «малая война» с горцами — рай для Давыдова, вожделенное «партизанство»! Ермолов сразу ухватился за эту идею и развил бурную «дипломатическую» деятельность, следы которой мы встречаем в письмах Закревскому: «Не знаю, дадут ли мне Дениса, но я уверен, что человек с его умом и пылкостью, скоро привыкнув к делам, был бы весьма полезен». Однако усилия Ермолова успеха не имели. Давыдов по-прежнему был в немилости у царя, так и не простившего ему юношеские вольнодумные стихи. Ермолов был очень возмущен несправедливым отношением к одному из самых одаренных генералов русской армии: «Впечатление, сделанное им в молодости, не должно простирается и на тот возраст его, который ошутительным весьма образом делает его человеком полезным. Таким образом можно лишать службы людей весьма годных, и это будет каприз или предубеждение. Признаюсь, что мне это досадно, а князь Волконский даже и не отвечает на письмо. Словом, насмеяются нашим братом. Не я теряю, ибо человек моего состояния не рискует лишиться кредита, им никогда не пользовавшись, но служба не найдет своих расчетов, удаляя достойных»^{6*}.

Ермолов последовательно критикует все действия правитель-

* Сам Давыдов с понятной горечью писал Закревскому: «Кажется, совесть моя мне упрекать не может; я хотел служить, и служить в таком краю, который большею частью военнотружущих наших почитаем ссылкой. Признаться должен, что, будучи обременен семейством, и я не без победы над собою решился стяжать сие место. На сие побудило меня, с одной стороны, страх, чтобы не истратить плодороднейшую часть моего века для собственной только пользы, а с другой — уверенность, что я был бы полезнее для России на Кавказе, нежели на площадях, протоптанных учебным шагом. Что делать! Надо повиноваться судьбе... Итак, я снова обращаюсь к сохе» (РиО. Т. 73. С. 534).

ства — и препятствия, которые чинят Воронцову, стремящемуся занять место Ланжерона, новороссийского генерал-губернатора; «несчастную историю Граббе», его любимца, когда-то адъютанта; особое недовольство вызывает у него внешнеполитическая деятельность царя, унижающая, по его мнению, Россию: «Великодушно стремление Государя сохранить в Европе мир и тишину... Но предание греков на истребление сохранит ли наше достоинство? Черное пятно сие не изгладится из истории нашей и нынешнего царствования. Кто не видит, что мы теряем существенные наши выгоды? Какую боязнь внушает Англия, народ совсем не страшный. Вся беда, что редок у нас будет сахар и кофе, и щеголих юбки не будут английские. Дела Италии и Испании нам очень нужны и конгрессу до них дело!»

Ермолов хорошо видит связь между общим ходом дел в стране и частными словно бы эпизодами служебных неудач ярких, талантливых людей, вроде Давыдова и Граббе. П.Х. Граббе, активный член Тайного общества, до весны 1822 г. командовал Лубенским гусарским полком, а затем был уволен якобы за нарушение субординации, но на самом деле за «карбонарство» (слово, ставшее модным после 1820—1821 гг.). Закревский об этом знал и сообщил Ермолову, который писал в ответ, что не верит «сделанному о нем замечанию».

В ноябре 1822 г. Ермолов писал Закревскому: «Ты забавно описываешь, как Сакен действует с Милорадовичем, но больно видеть, что Государь не может свести двух человек вместе, чтобы они не перессорились. Неужели в личной вражде нельзя не мешивать службу? Кажется, что это две вещи, совершенно разные. Какие странные свойства людей, и сии, выставлены будучи напервейшие степени государства, находясь на виду, дают собою другим пример весьма развратный.

Как часто у нас люди не на своих местах, и ей-Богу: нельзя требовать от нас такого ослепления, чтобы мы даже того и не видали. Почувствуешь или увидишь, тотчас же запишешься в карбонари! Счастливы люди свободные, никакими должностями не обязанные. Вот чего я добиваюсь всем сердцем»⁷.

Ермолова, скорее всего, действительно забавляло, что командующий 1-й армией Сакен и генерал-губернатор столицы Милорадович делали на публике вид, будто незнакомы друг с другом. Ермолов знал обоих в течение двадцати лет и они не принадлежали к числу уважаемых им людей. А вот упрек царю за неумение (или нежелание?) «свести двух человек вместе, чтобы они не перессорились», очень слабо маскирует другой, гораздо более серьезный. Ведь не кто иной, как он сам, выдвинул этих людей на «первейшие степени государства».

Легко заметить, что раздражение Ермолова идет как бы по нарастающей и достигает пика в резкой формулировке: «Как часто у нас люди не на своих местах». А затем, произнеся не самые

верноподданнические слова о записи в карбонарии, Ермолов как будто спохватывается и начинает мечтать о покое. Фраза «почувствуешь или увидишь, тотчас запишешься в карбонарии», на первый взгляд, звучит столь многообещающе, что дух захватывает. Неужели?

Минутная ли эта вспышка «пламенного характера» Ермолова или же пункт программы? Во всяком случае, отчетливее всего тут слышится мысль о том, что само правительство своей неразумной политикой если и не плодит революционеров, то по крайней мере возбуждает недовольство людей, весьма далеких в принципе от «карбонарства». Именно в эти годы начинает всерьез рушиться тот союз Власти с лучшими людьми страны, который установился в XVIII в. Вспомним письмо Давыдова к Киселеву, в котором он говорит, что правительство «само поставляет осаждающим материалы».

«КТО ЖЕ МОЖЕТ УГОДИТЬ?»

Наконец, во второй половине 1823 г. наступил последний этап «затемнения». После резкого столкновения с Аракчеевым Волконский был отправлен на воды в Карлсбад. Его место занял Дибич. Закревский получил должность финляндского генерал-губернатора и командира Отдельного Финляндского корпуса, а дежурным генералом стал Потапов. Место Дибича в 1-й армии занял К.Ф. Толь, ставший генерал-адъютантом. За неделю до этого Гурьев уступил свою должность Канкрину, также избранному Аракчеевым. Вскоре вместо Кочубея министром внутренних дел стал приятель «Змея» Кампенгаузен, наконец, место умершего военного министра Меллера-Закомельского занял Татищев — еще одна креатура Аракчеева. Торжество временщика отныне было безраздельным.

«Сожалею только о том, что со временем, конечно, Государь узнает все неистовства злодея (Аракчеева. — М.Д.), коих честному человеку переносить нельзя; открыть же их нет возможности по непонятному ослеплению его к нему; между тем растеряет много честных людей и восстановится прежнее лихоимство и беспорядок в ходе дел», — писал Закревскому Волконский в октябре 1823 г.¹, оскорбленный так глубоко, как может быть оскорблен человек, который с детства был другом и помощником монарха, который двадцать семь лет прослужил ему верой и правдой и которого монарх сбросил, как надоевшую кошку с колен.

«Теперь прочным образом основалось царство немцев», — выразил общее мнение Ермолов.

Закревский, правда, перед уходом сумел хлопнуть дверью. Он напечатал небольшим тиражом свой «Отчет... по управлению дежурством Главного штаба» и разослал его «искренним друзьям».

Этого было достаточно, чтобы «Отчет», весьма откровенный по части изображения недостатков Системы, стал достоянием публики. Позднее Киселев писал Закревскому, что некоторые считают, якобы «Отчет» дает возможность врагам Закревского подтвердить «вымышленное обвинение в гордости» его. «Некоторые мысли, резко изъясненные, пугают уши, к тому не привыкшие», — писал Киселев. Закревский с обычной прямотой отвечал, что мысли «пугают уши» потому, что «у нас истина дерет всегда слух, разнеженный беспрестанной лестью, и что от непривычки слушать таковую за каждое смелое обличение своего образа мыслей заслуживаешь нареkanie [в] дерзости»².

Однако все это мало утешало Закревского. Финляндское «герцогство», как говаривал Ермолов, совершенно не прельщало Арсения Андреевича. Это был чужой край, где не было знакомых, привычной среды и возможности вести регулярную переписку с друзьями. Он пытался отказаться от этого назначения, но царь настоял, и он покорно отправился туда в полной уверенности, что ни малейшей пользы принести не сможет. С этих пор он, как и Ермолов, стал подумывать об отставке. Более того, он даже подал прошение, но оно было отклонено.

С конца 1823 г. внутренний кризис переходит у наших героев в апатию. Это слово, пожалуй, точнее других характеризует их душевное состояние в то время. Служба стала не в радость. Перемены в Главном штабе были не просто кадровыми перестановками. Менялось само направление, характер его деятельности, что не могло не отразиться на функционировании армии в масштабах всей страны. Волконский и Закревский при всех недочетах много делали для армии, хотя бы тем, что не давали окончательно «разгуляться» Аракчееву. Они немало содействовали Ермолову, Сабанееву, Киселеву и Воронцову в преодолении обычных бюрократических препон. Ускорение рассмотрения ходатайств последних серьезно облегчало их деятельность как командиров, особенно если учесть общее меланхоличное движение дел в стране.

Теперь все пошло по-другому. Ермолов пишет Закревскому: «По делам весьма примечаю я, что не с тобою, но с другими имею я дело. Лежат представления без разрешения, являются отказы, которые можно бы и даже было прилично не делать. Делаются шиканские запросы и надобно будет бросить немецкое царство. Словом, изобретаются все средства поселить к службе всякого рода охлаждение»³. Ермолову вторит Киселев: «Деятельность моя ускромилась, или лучше сказать, притуплена бездействием начальства, которое меня с учтивостью терпит... Убеждение в бесполезности заставит сложить ярмо, которое шесть лет ношу и которое при вас и от вас, любезные друзья, меня не тяготило, но теперь честолюбие без пищи и пожертвование без цели; остается ожидать приговор судьбы, который кончит

суетную жизнь, химер посвященную, для начатия другой, менее блистательной, но более полезной»⁴. В этих строках — желание как-то утешить, сделать приятное Закревскому, но не только это.

Не лучшим образом настроен и Сабанеев: «Воронцов так же сед, как и я; мы живем по соседству и нередко видимся... Что за удивительный человек, дай Бог таких людей более, но и им недовольны. Кто же может угодить? Никто, да и не надо угодять. Иди по чистой совести и по стопам заповеди, вот и все искусство управлять людьми, т.е. для управления людьми надобно сперва уметь управлять собою»⁵. В 1824 г. Сабанеев временно командовал 2-й армией и за несколько месяцев сэкономил 1,6 млн. рублей в сравнении с прошлогодней сметой. Однако царь не сказал ему и «полслова» благодарности: «Таковое равнодушие к службе ревностной (если находят командование мое таковым) службе вредно, а мне унижительно. Так и быть. Покуда смогу, служить буду я с тою же ревностию, как и всегда»⁶.

И в прежние годы герои этого рассказа ругали конкретных министров, Сенат, правительство вообще и позволяли себе осуждать самого царя. Однако не было таких широких и безысходных обобщений, скепсис не замешивался так густо на горечи, а раздражение было боевым, волевым что ли. Был настрой, они были готовы драться. А сейчас руки словно опустились. Нет, разумеется, в этих руках еще помещались и Кавказ, и Финляндия, Новороссия и 2-я армия. И тем не менее...

Раздражение, не находящее выхода, загустевая, может превратиться в апатию. Искоренить зло не в их власти, но «нельзя от нас требовать такого ослепления, чтобы мы того даже и не видали». Когда политика правительства приходит в противоречие со здравым смыслом, труднее всего тем, кто имеет глаза и собственное мнение, что, впрочем, одно и то же. Придворные остаются придворными, они не сомневаются, ибо сомнение — привилегия разума, но не веры.

Власть, со своей стороны, была ими недовольна. Это тоже понятно. В момент, когда торжествуют «гаильники», любые проявления независимости имеют свойство увеличиваться и преувеличиваться.

Говоря об Александре I в период 1815—1825 гг., мы невольно стремимся все упростить, пытаемся провести прямую между наиболее зримыми ориентирами — поселениями, аракчеевщиной, Фотием, мистицизмом и т.п. Но в истории кратчайшее расстояние не всегда ведет к истине. Ведь кроме Фотия и Аракчеева есть польская конституция, «Уставная грамота», есть слова «не мне их декабристов. — М.Д.) судить».

Тем не менее в последние годы жизни император не верил уже не только Ермолову (это хотя бы можно понять), но и Киселеву, беспредельно преданному ему Киселеву (что непостижимо). Как известно, незадолго до смерти он написал:

«Пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается между войсками... Есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют при том секретных миссионеров для распространения своей партии: Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, Дмитрий Столыпин и многие другие из генералов, полковников, полковых командиров, сверх того большая часть разных штаб- и обер-офицеров»⁷.

Позднее Нессельроде рассказывал, что Меттерних довел впечатлительного Александра до того, что даже он, Нессельроде, и князь Волконский не могли быть уверены, что и их не обвинят в «карбонарстве». Воистину у страха глаза велики.

Время Александра — время молодости и зрелости наших героев, лучшие годы их жизни — кончалось. Двое из них станут министрами и графами, один — фельдмаршалом и князем, четверо из шести будут жить долго и переживут падение Севастополя, а трое — 19 февраля 1861 г. Но это будет другая эпоха.

Они в прямом и переносном смысле были детьми XVIII столетия. Принадлежа по воспитанию, мировоззрению, мировидению «веку Екатерины», они с каждым годом все неуютнее чувствовали себя в военной системе Павловичей. До 1815 г. они были нужны, ибо во время войны нужны все, но затем Система постепенно кого-то из них выбросила, кого-то подмяла, приспособила к себе. В определенном смысле они — первые лишние люди русского XIX в.; конечно, все в разной степени. Они не могли видеть русскую армию в «кандалах германизма», который, впрочем, имел мало отношения к реальной Германии. Они с трудом адаптировались к «новой формации».

Время, в котором они выросли, к которому привыкли, кончалось. И теперь разговоры об отставке, вероятнее всего, не поза, а трезвое осмысление того, что происходит вокруг и своего места в этом мире.

Был ли другой выход?

Был ли другой выбор?

«ОППОЗИЦИЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА»

Среди «важных государственных лиц», на сочувствие и, быть может, содействие которых рассчитывали декабристы, чаще других упоминаются имена Ермолова, Мордвинова и Сперанского. Но наряду с ними в показаниях декабристов мы встречаем и имена Воронцова, Закревского, Киселева.

Это, конечно, не случайно, и попытаться разобраться в этом необходимо. Однако сразу же заметим, что при исследованиях на тему «нет дыма без огня» очень важно не путать, условно говоря, горящую сигарету с пожаром на нефтебазе, к чему мы иногда весьма склонны.

Уже говорилось о цепи как будто противоречивых поступков Ермолова и Киселева, которым, в отличие от Воронцова и Закревского, «разрешается» быть противоречивыми. С одной стороны, они тяготеют к декабристам, разделяя их недовольство тем, что они видят в стране. Можно ли считать чистой случайностью, что два любимых адъютанта Ермолова, прошедших вместе с ним славные 1812—1814 гг., — М.А. Фонвизин и П.Х. Граббе — были видными деятелями Тайного общества, а Н.П. Воейков, его адъютант уже кавказского периода, привлекался к следствию, хотя и был оправдан? А Басаргин, адъютант Киселева? До какой степени простиралась дружба Киселева с Пестелем, Бурцевым и другими членами Южного общества?

Ермолов и Киселев как могли покровительствовали им, пытались облегчить их участь. Широко известно, что Ермолов фактически спас Грибоедова, дав ему возможность уничтожить все компрометирующие материалы, и аттестовал всех арестованных офицеров-кавказцев самым похвальным образом. В главе «Ермолов и ермоловцы» в книге М.В. Нечкиной «Грибоедов и декабристы» показан «вольнодумный» пласт жизни и деятельности «Проконсула». Как, например, повел себя Ермолов в истории с испанским революционером Ван-Галеном! Тот поступил на русскую службу, но после начала революции в Испании захотел вернуться на родину, однако царь не разрешил ему этого сделать. Тогда Ермолов отправил его своей властью, дав ему 500 рублей золотом собственных денег и письмо к генералу Гогелю, который «пропустил» Ван-Галена через южную границу страны. А таинственная история с пропажей списка членов Южного общества, доставленного Киселеву его агентурой и затем странным образом очутившегося у декабриста Бурцева, который его уничтожил. Версия о том, что Киселев сделал это намеренно, представляется убедительной.

С другой стороны, Ермолов и Киселев совершили ряд поступков, резко диссонирующих, как считают современники и особенно потомки, с только что названными. Об этом уже говорилось выше. Хотя и остается пока загадочным эпизод с двенадцатидневной задержкой Ермоловым присяги Кавказского корпуса Николаю I, но что он, в сущности, меняет? Поднимать корпус, разбросанный на территории в несколько тысяч квадратных километров, и вести его против царя — до этого мог додуматься либо сумасшедший (а Ермолов им не был), либо революционер, которым он тоже не был, хотя в последние годы желание переместить его «влево» наблюдается у некоторых исследователей достаточно отчетливо.

На наш взгляд, противоречие между этими линиями поведения Ермолова и Киселева лишь внешнее, и внешнее постольку, поскольку их оценивают извне, со стороны. Заметим, что из круга людей, по-настоящему знавших того же Ермолова,

упреки такого рода практически не слышны. Попытки же связать концы, исходя только из того, что видно всем и каждому, не всегда плодотворны.

Ведь помощь «несчастливым» — а декабристы в их глазах именно такими и были — прямая обязанность всякого нормального человека. Это норма людей их круга. Характерно, например, что Денис Давыдов обратил внимание на разжалованного декабриста Гангеблова, только узнав его историю. Можно привести немало примеров, когда они старались тем или иным способом облегчить участь пострадавших по разным причинам офицеров. Для наших героев такая помощь была разновидностью той постоянной заботы о подчиненных всех рангов, которая проявлялась в «выбивании» для них наград у правительства, в том числе и денежных. Если их поддержкой пользовались люди благополучные в сравнении с декабристами (тот же Якубович в 1825 г. был явно в более выгодном положении, чем в 1826 г.), то тем более на нее могли рассчитывать те, кто оказался в положении беспрецедентном по тому времени. Знаменитый эпизод с Грибоедовым произошел бы, даже окажись на его месте другой человек. Сама постановка вопроса — спасти или выдать — была оскорбительна для них. С одной важной оговоркой: в пределах той свободы, которую им давало их положение или служба. Любой приказ имеет свое число «степеней свободы», и наши герои как опытные бюрократы это хорошо знали, знали они и «обязанность повиновения в точном смысле».

Если Ермолов не боялся решать судьбы целых ханств, нарушая иногда условия трактатов, заключенных от имени императора с владетельной знатью Закавказья, то он прекрасно рассчитывал последствия такого выхода за пределы своей власти. В истории Ван-Галена была, вероятно, какая-то лазейка, позволившая ему пойти на такой шаг, ибо прямой и категоричный приказ царя он вряд ли нарушил бы, тем более подвергая при этом опасности старого боевого товарища. Это, естественно, никоим образом не умаляет гражданского мужества Алексея Петровича — очень немногие сделали бы то, что сделал он (о деньгах и говорить нечего), но мы должны видеть и эту сторону его поступка. Легко представить, что Киселеву было неприятно передавать на «верх» список, в котором фигурировали его приятели, однако по должности он знал образ мыслей приятелей своих приятелей, как, например, Раевского. Вот что Киселев писал Закревскому по поводу будущего декабриста Ф. Шаховского: «Отставьте Шаховского и удалите от военной службы всех тех, которые не действуют по смыслу правительства — все они в английском клубе безопасны, в полках же чрезмерно вредны. Дух времени распространяется повсюду и некое волнение в умах заметно. Радикальные способы к исторжению причин вольнодумства зависят не от нас; но дело наше не позволять распростра-

няться оному, укрощать сколько можно зло. Неуместная и непрерывная строгость возродит его, а потому остается зараженных удалять и поступать с ними, как с чумными: *лечить сколько возможно, но сообщение воспрепятствовать*. Вот, по-моему, чем обязаны прямые слуги Государя и верные сыны отечества, призванные к охранению общества от бед и напастей. Вот чем мы обязаны. Чем же обязаны столпы государственные, не подлежит моему суждению и я о сем молчу.

Касательно армии я должен тебе сказать, что в общем смысле она, конечно, нравственнее других, но в частном разборе, несомненно, найдутся лица неблагомыслящие, которые стремятся, но без пользы к развращению других. Мнение их и действия мне известны, и потому, следуя за ними, я не страшусь какой-либо внезапности и довершу начатое. Сабанеев мне помощник отличный»¹.

Этот отрывок интересен во многих отношениях, но нам сейчас важно одно: эти строки со всей определенностью показывают, насколько далек от истины был Александр I, считая Киселева одним из «миссионеров» Тайного общества. Нужно также сказать, что отставки М.Ф. Орлова Киселев добивался не потому, что нужно было «зараженных удалять», а потому что в той ситуации для Орлова это был наивыгоднейший вариант, избавлявший его от следствия, в ходе которого ему трудно было бы оправдаться.

Теперь два слова о политике Ермолова в Дагестане. Дело не в том, что Ермолов был не более жесток, чем его преемники — Паскевич, Розен, Воронцов. Главное заключается в том, что набеги горцев Ермолов не рассматривал как борьбу свободлюбивых народов против колониального угнетения России и очень удивился бы, скажи ему кто-нибудь об этом. Горцы были для него грабителями и разбойниками, которые мешали нормальному развитию присоединенных к России территорий и казачьих областей. И если в 1812 г. Ермолов, не задумываясь, велел повесить русских солдат, уличенных в мародерстве, то могли ли рассчитывать на снисхождение горцы? Свою основную задачу, как уже говорилось, он видел в превращении подвластных территорий в «российские уезды», а их жителей — в русских. Вопросы сохранения национальной самобытности десятков народов, населявших Кавказ и Закавказье, его совершенно не волновали. Он был твердо убежден, что «здесь без страха ничего не сделаешь». Его преемники были не столь откровенны, но действовали не менее решительно.

И все-таки имена Ермолова, Закревского, Воронцова и Киселева не случайно звучат в показаниях декабристов. Не случайно хотя бы потому, что на Паскевича, П.М. Волконского, Милорадовича или Васильчикова декабристы не рассчитывали. Следовательно, было нечто, подкреплявшее их более или менее гипотетические надежды. Это «нечто» включало и прежнюю

репутацию, и тот шлейф слухов всех видов, который тянется за каждым значительным человеком, как спутная струя за самолетом, и который в большой степени формирует представление современников об этой личности. Современники в целом достаточно остро чувствуют, насколько тот или иной государственный деятель «вписывается» в господствующую линию правительственной политики. Поэтому на фоне прогрессировавшего обезличивания «верхов» Империи, когда все дороже ценились не только мундиры, но и души, «застегнутые, как чемоданы» (Д.В. Давыдов), наши герои начинали выглядеть несколько старомодно. Отсюда и недоверие к ним властей, и вера в них декабристов. Отсюда же — по неизжитой привычке за высоким лбом Екатерины II непременно видеть стриженную в скобку голову Пугачева — достаточно настойчивые попытки «записать в карбонари» того же Ермолова, которые предпринимаются в наши дни.

Мы уже говорили о том, что мнение о назначении Ермолова на Кавказ как о ссылке по меньшей мере не учитывает точки зрения самого Алексея Петровича. Тем не менее желание «сослать» Ермолова на Кавказ не ослабело до наших дней. Пример это частный, но показательный: так социальная репутация влияет на восприятие личности современниками и потомками. Легенда возникла, вероятно, потому, что она удобно ложится на репутацию Ермолова, вечно преследуемого, вечно фрондирующего и т.д. И если ошибался Давыдов, хорошо знавший Ермолова, тем легче ошибались люди, наблюдавшие его со стороны.

Нечто подобное имело место и с другими героями этого рассказа. Их положительная социальная репутация и *видимое* всем поведение оставляли как будто некие резервы *скрытой* оппозиционности, сверх той, что была на виду. И этого уже было довольно, чтобы во времена, когда Власти требуются не личности, а бездумные исполнители, их подозревали в «карбонарстве». Причем подозревали по обе стороны уже почти готовой к тому времени баррикады.

Но были ли это потаенные резервы оппозиционности?

«Я прибыл в Тифлис в 1827 году, 2 февраля. В то время еще был главнокомандующим Алексей Петрович Ермолов, уже ожидавший смены и потерявший свою популярность; про него говорили тогда, что он только либерал-прапорщик; но он мог играть роль Валленштейна, если бы в нем было поболее патриотизма, если бы он при обстановке своей того времени и какого-то трепетного ожидания от него людей, ему преданных и вообще всех благородномыслящих, не ограничился каким-то непонятным равнодушием, увлекшим его в бездейственность, в какую-то апатию, за которую Николай вместо благодарности заплатил ему неблагодарностию...» — так начинается помещенный во 2-м томе «Исторического сборника» Герцена и Огарева очерк «Ермолов», приписываемый перу декабриста Цебрикова². Смысл

этих резких и обидных слов ясен: Ермолов обманул, предал людей, веривших в него. Декабрист считает так: если ты порядочный человек, ты не можешь не быть с нами, теми, кто восстал против самодержавия, а коли ты не с нами, значит, — непорядочный.

Естественно, мы не собираемся защищать Ермолова от Ермолова. Тем более что это не единственный взгляд на него из декабристской среды. Здесь важна альтернатива, перед которой Цебриков ставит Ермолова, да и не только его. Но если такой взгляд со стороны столько перенесшего и тем не менее не сломленного участника восстания 14 декабря понятен и по-своему оправдан, то куда труднее согласиться с теми исследователями, которые, по сути, тоже ставят всех современников декабристов перед выбором: либо на Сенатскую площадь, либо в Грузино, к Аракчееву. Для Пушкина и Карамзина при этом делается исключение (хотя иметь две логики для объяснения однопорядковых в принципе явлений — это, как говаривал В.Б. Шкловский, «неправильный метод»). Но в конечном счете и после 14 декабря остались люди, которые не пришли ни к первым, на площадь, ни ко второму. Последние годы правления Александра I — это еще не эпоха Выбора, а только одна из репетиций оной (эпоха эта наступит век спустя). А ставить наших героев и им подобных перед дилеммой: либо Тайное общество (не говоря уж о царубийстве), либо передние «Змея» — все равно, что предложить человеку на выбор застрелиться или принять яду, когда у него есть возможность просто выйти вон в любую дверь.

Подобно большинству современников, наши герои остались в стороне. Их многое сближает с декабристами, но в главном они с ними расходятся. Так разные врачи, наблюдая одни и те же симптомы, ставят разный диагноз и назначают различные методы лечения.

А реформы? Увы, император скорее всего был прав, когда жаловался, что «нет людей». Воронцов и Киселев — этого мало для преобразования России. Впрочем, нет. Реформы нужно было поручить проводить Аракчееву и аракчеевцам. Они бы постарались сделать все сообразно желаниям царя, ибо по службе рассуждать не привыкли.

Нужно ли говорить, что и в этом тоже — драма нашей Истории?

* * *

В 1909 г. в Англию приехала делегация III Думы. На обеде у лорда-мэра Лондона П.Н. Милюков произнес речь, в которой сообщил, что «пока в России существует законодательная палата, контролирующая бюджет, русская оппозиция останется оппозицией Его Величества, а не Его Величеству». Эта знаменитая

фраза очень точно обозначила некое явление. Действительно, почти во все времена, во всех странах, при всех режимах были и есть люди, недовольные практикой данного режима, выражающие свое недовольство нередко весьма громко, но притом никогда не посягающие на Основы и вовсе не от нехватки храбрости, а по убеждению, что Основы эти при всех недостатках, самые лучшие, правильные и т.д. Такие люди и составляют «оппозицию Его Величества» (какое бы имя это «Величество» не носило), в отличие от «оппозиции Его Величеству» — тех, кто видит свою задачу в замене Основ. Кредо первых — эволюция, вторых — революция.

Судьба «оппозиции Его Величества» сравнительно благополучна в странах, где осуществились «конституционные мечтания», и куда менее спокойна в странах, имеющих «склонность» к деспотизму, особенно в периоды, когда эта «склонность» становится господствующей и верховная власть не терпит возражений уже не только от врагов, но и от друзей, когда критерием лояльности выступает тщательность соблюдения формы, а не верность сущности содержания.

Герои этого рассказа — ярчайшие, быть может, представители «оппозиции Его Величества» своего времени. Они были людьми, прекрасно видевшими все пороки существующей системы, причем тем яснее, что принадлежали к элите государственных деятелей. Они порицали эту систему, они страдали за нее, как только и могут страдать люди, любящие свое Отечество, и от нее, ибо были в ней достаточно чужеродными элементами. И все же, несмотря ни на что, считали ее более подходящей для той России, чем «мечтания» декабристов.

Мы уверены, что хорошо знаем, что им надо было делать, за кем идти, точнее, кого вести и куда. Время как будто все рассудило.

Но легче ли им, не знающим того?

И легче ли нам?

Примечания

Введение

- ¹ Восстание декабристов. М., 1979. Т. 15. С. 230—231.
- ² Там же. М., 1984. Т. 18. С. 159.
- ³ Там же. С. 256.
- ⁴ Там же. С. 272.
- ⁵ См.: Сборник Императорского русского исторического общества (далее: РИО). Т. 73. СПб., 1890; Т. 78. СПб., 1892; Архив князя Воронцова (далее: АКВ). М., 1891.
- ⁶ РИО. Т. 73. С. 531—532.

«Государь» или «Отечество»?

- ¹ АКВ. Т. 37. С. 303.
- ² РИО. Т. 73. С. 504.
- ³ Там же. С. 277.
- ⁴ РИО. Т. 78. С. 182.
- ⁵ АКВ. Т. 39. С. 392.
- ⁶ РИО. Т. 73. С. 224, 227.
- ⁷ Там же. С. 502.
- ⁸ Там же. С. 395.
- ⁹ Там же. С. 570.
- ¹⁰ РИО. Т. 78. С. 124.
- ¹¹ Там же. Т. 73. С. 240.
- ¹² Там же. С. 273, 277, 503.
- ¹³ Там же. С. 234.
- ¹⁴ Давыдов Д.В. Собр. соч. СПб., 1895. Т. 3. С. 231—232.
- ¹⁵ Марасинова Е.Н. Эпистолярные источники о социальной психологии российско-го дворянства (последняя треть XVIII в.) // История СССР. 1990. № 4. С. 167.
- ¹⁶ РИО. Т. 73. С. 252, 534, 590, 581.
- ¹⁷ Там же. С. 197, 198, 317, 327, 568.
- ¹⁸ Записки А.П. Ермолова. 1798—1826. М., 1991. С. 197.
- ¹⁹ РИО. Т. 73. С. 209.
- ²⁰ Погодин М.Н. А.П. Ермолов. Материалы для его биографии. М., 1863. С. 112; ср.: «1812—1814» (реляции, письма, дневники). М., 1992; Шильдер Н.К. Император Александр I. СПб., 1897. Т. 3. С. 336.
- ²¹ Михайловский-Данилевский А.Н. Император Александр I и его сподвижники в 1812—1815 гг. СПб., 1848—1849 гг. Т. 6. С. 202.
- ²² РИО. Т. 78. С. 220—221.
- ²³ Там же. Т. 73. С. 221—222, 248, 567.

- 24 Там же. С. 291.
- 25 Записки А.П. Ермолова. С. 175, 262.
- 26 РИО. Т. 73. С. 512.
- 27 Там же. С. 499, 503.
- 28 *Логодин М.Н.* Указ. соч. С. 112.
- 29 Русская старина. 1872. № 7—12 (кн. 6). С. 498.
- 30 РИО. Т. 73. С. 584.
- 31 Там же. Т. 78. С. 271.

«Правила»

- 1 Записки А.П. Ермолова. С. 86.
- 2 Там же. С. 102.
- 3 Старина и новизна. СПб., 1902. Кн. V. С. 148.
- 4 *Давыдов Д.В.* Военные записки. М., 1940. С. 361.
- 5 Старина и новизна. Кн. V. С. 148—149.
- 6 РИО. Т. 73. С. 499, 593.
- 7 Там же. С. 256—257.
- 8 Там же. С. 270.
- 9 Там же. С. 194.
- 10 Там же. С. 377, 419—420.
- 11 Там же. С. 355.
- 12 Там же. Т. 78. С. 212.
- 13 *Басаргин Н.В.* Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 74.
- 14 Русская старина. 1872. Кн. V. С. 625.
- 15 Старина и новизна. Кн. V. С. 125.
- 16 Там же. С. 143.
- 17 *Ермолов А.П.* Записка о посольстве в Персию // *Ермолов А.П.* Записки. М., 1868. Т. 2. С. 31.
- 18 РИО. Т. 73. С. 268—269.
- 19 Там же. С. 273—274.
- 20 Там же. С. 269.
- 21 Там же. С. 247—248.
- 22 *Давыдов Д.В.* Стихотворения. Л., 1984. С. 67.
- 23 РИО. Т. 73. С. 508.
- 24 АКВ. Т. 37. С. 296—297.
- 25 Записки А.П. Ермолова. С. 134; *Ермолов А.П.* Записка о посольстве в Персию. С. 25—26.
- 26 РИО. Т. 73. С. 590.
- 27 Записки А.П. Ермолова. С. 117—118.
- 28 РИО. Т. 73. С. 513, 520.
- 29 *Толстой Л.Н.* Собр. соч. М., 1951. Т. 6. С. 44.
- 30 Записки А.П. Ермолова. С. 32.
- 31 РИО. Т. 73. С. 271.
- 32 Там же. Т. 78. С. 221.

Закревский в Петербурге

- 1 РИО. Т. 73. С. 512.
- 2 Там же. Т. 78. С. 182.
- 3 Там же. С. 183.
- 4 *Вигель Ф.Ф.* Записки. М., 1892. Ч. 4. С. 179.
- 5 РИО. Т. 78. С. 331—332.
- 6 Там же. С. 333, 362.
- 7 АКВ. Т. 37. С. 264, 267, 268, 269, 271, 276, 281, 285, 290, 298, 327.
- 8 Там же. С. 301.

Воронцов во Франции

- 1РГАДА, ф.1261, оп.1, д.2164, л.1.
 - 2Вигель Ф.Ф. Указ. соч. Ч. 5. С. 138.
 - 3Там же. С. 139.
 - 4РГАДА, ф.1261, оп.1, д.2164, л.8—8об.
 - 5Там же, л.8об—9.
 - 6Там же, л.2об—3.
 - 7Там же, л.10об—11.
 - 8Там же, л.15.
 - 9Русское слово. 1912. № 149.
 - 10РГАДА, ф.1261, оп.1, д.2164, л.11—11об.
 - 11Там же, л.3об—4.
 - 12Там же, л.5.
 - 13Там же, л.13.
 - 14АКВ. Т. 39. С. 401—402.
 - 15Там же. Т. 37. С. 425—426.
 - 16Там же. С. 260.
 - 17РИО. Т. 73, С. 479.
 - 18Там же. С. 479—480.
 - 19АКВ. Т. 37. С. 263.
 - 20РИО. Т. 73. С. 481.
 - 21См.: АКВ. Т. 37. С. 279—280; РИО. Т. 73. С. 484—485.
 - 22Русский архив. 1912. Кн. 2. № 7. С. 360.
 - 23Шильдер Н.К. Император Александр I. СПб., 1897. Т. 4. С. 209—210.
 - 24См.: Вигель Ф.Ф. Указ. соч. С. 139; Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951.
- С. 240.
- 25Фонвизин М.А. Сочинения и письма. Иркутск, 1979. Т. 1. С. 24—25.
 - 26РИО. Т. 78. С. 18—19.
 - 27Там же. С. 200.

Ермолов на Кавказе — 1

- 1РИО. Т. 73. С. 193.
- 2АКВ. Т. 36. С. 154.
- 3Там же. С. 174—175.
- 4РИО. Т. 73. С. 196, 213, 233 и др.
- 5Там же. С. 271.
- 6Там же. С. 222.
- 7Там же. С. 263.
- 8Там же. С. 208.
- 9Там же. С. 266.
- 10АКВ. Т. 37. С. 381.

Сабанеев в Бессарабии

- 1См.: Русский архив. 1912. Кн. 2. № 6. С. 198; РИО. Т. 73, С. 194, 516.
- 2РИО. Т. 78. С. 7, 196, 18, 200.
- 3Там же. С. 48, 88.
- 4Раевский В.Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1983. Т. 2. С. 312—313.
- 5РИО. Т. 73. С. 306.
- 6Там же. С. 570—571, 574.
- 7АКВ. Т. 39. С. 433—435.
- 8Заблюцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 1. С. 83, 86.

- ⁹АКВ. Т. 39. С. 452.
¹⁰Там же. С. 456, 457, 461.
¹¹Там же. С. 461—462.
¹²РИО. Т. 73. С. 577—578.
¹³Там же. С. 578.
¹⁴Заблоцкий-Десятовский А.П. Указ. соч. Т. 1. С. 87.
¹⁵Там же.
¹⁶Там же. С. 86.

Киселев в Тульчине

- ¹Басаргин Н.В. Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 73.
²РИО. Т. 73. С. 575.
³Там же. С. 577.
⁴Там же. Т. 78. С. 34.
⁵Там же. С. 197.
⁶Там же. Т. 73. С. 256; Т. 78. С. 17, 33, 34 и др.
⁷Там же. Т. 78. С. 19—20.
⁸Там же. С. 34.
⁹Там же. С. 52, 214.
¹⁰Там же. С. 218.
¹¹Там же. С. 59, 203.
¹²Там же. С. 241—242.
¹³Там же. С. 89.
¹⁴Там же. С. 225.
¹⁵Заблоцкий-Десятовский А.П. Указ. соч. Т. 4. С. 7—8.
¹⁶Там же. Т. 1. С. 50.
¹⁷РИО. Т. 78. С. 217.

Ермолов в Персии

- ¹АКВ. Т. 36. С. 155.
²РИО. Т. 73. С. 243, 246, 247.
³Ермолов А.П. Записка о посольстве в Персию. С. 9—10.
⁴Там же. С. 38.
⁵Там же. С. 4.
⁶Там же. С. 22.
⁷Там же. С. 53, 16.
⁸Там же. С. 73.
⁹РИО. Т. 73. С. 335—336.

Ермолов на Кавказе—2

- ¹РИО. Т. 73. С. 217.
²Там же. С. 205.
³Там же. С. 217, 218, 226 и др.
⁴Русский архив. 1886. Кн. 3. С. 325.
⁵АКВ. Т. 36. С. 161.
⁶РИО. Т. 73. С. 300.
⁷Там же. С. 301—302.
⁸Там же. С. 324.
⁹Там же. С. 316.
¹⁰Там же. С. 316—317.

«Смирись, Кавказ?»

¹РИО. Т. 73. С. 198, 204—205.

²АКВ. Т. 36. С. 183—184.

³РИО. Т. 73. С. 205, 218.

⁴Там же.

⁵Там же. С. 217.

⁶Там же. С. 204.

«Бредни препядочные»

¹АКВ. Т. 37. С. 318, 320, 322, 331, 306.

²Военный сборник. 1861. Т. 6. С. 345; РИО. Т. 73. С. 295.

³См.: *Якушкин И.Д.* Записки, письма и статьи. М., 1951. С. 151; *Трубецкой С.П.* Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. Иркутск, 1983. С. 221; РИО. Т. 73. С. 284.

⁴РИО. С. 189.

⁵Там же. Т. 73. С. 284.

⁶Там же. Т. 78. С. 214.

⁷См.: *Ячменихин К.М.* Структура Новгородских военных поселений и их управление // История СССР. 1989. № 1; *его же.* Военные поселения на Кавказе в 30—50-е годы XIX в. // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1991. № 4; *Кандаурова Т.Н.* Военные поселения в России. 1810—1857 гг. (проекты и их реализация) // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1990. № 1; и др.

⁸*Кандаурова Т.Н., Давыдов Б.Б.* Военные поселения в оценке современников // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1992. № 2.

⁹Там же. С. 44.

¹⁰РИО. Т. 78. С. 246.

¹¹Там же. С. 253.

¹²*Кандаурова Т.Н., Давыдов Б.Б.* Указ. соч. С. 52.

¹³Там же. С. 45.

¹⁴*Ячменихин К.М.* А.А. Аракчеев // Вопросы истории. 1991. № 12. С. 45.

¹⁵См.: РИО. Т. 73. С. 284, 301; *Ермолов А.П.* Письма. Махачкала, 1926. С. 35.

Ужасные последствия «речи прекрасной»

¹АКВ. Т. 37. С. 271, 310.

²*Карамзин Н.М.* Неизданные сочинения и переписка. СПб., 1862. Ч. 1. С. 6—7.

³РИО. Т. 73. С. 2; Т. 78. С. 428, 192, 2; Т. 73. С. 280, 496.

⁴Там же. С. 496.

О вреде модных мыслей

¹*Ермолов А.П.* Письма.

²*Тургенев Н.И.* Россия и русские. Ч. 3 // Библиотека декабристов. [Б.м.] 1908. Кн. 1. С. 125—126.

³Русский архив. 1912. Кн. 2. № 7. С. 343—344.

⁴*Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 99, 113—116.

⁵Русский архив. 1912. Кн. 2. № 7. С. 355.

⁶*Тургенев Н.И.* Письма. М.; Л., 1936. С. 302.

⁷*Мироненко С.В.* Указ. соч. С. 135—136.

⁸*Тургенев Н.И.* Письма. С. 309.

⁹Русский архив. 1912. Кн. 2. № 7. С. 363—364.

¹⁰РИО. Т. 78. С. 226.

¹¹*Ермолов А.П.* Письма. С. 34.

¹²РИО. Т. 73. С. 279—280.

Нужны ли России реформы?

- ¹В настоящее время она поистине необозрима. См., например: Русская идея. М., 1992.
- ²*Дурновоцев В.И.* Россия и Европа: обзор материалов по истории русской исторической мысли конца XVIII — начала XIX в. М., 1985. С. 45—76.
- ³*Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. М., 1982. С. 353—354.
- ⁴*Дурновоцев В.И.* Указ. соч. С. 87.
- ⁵*Сперанский М.М.* Проекты и записки. М.; Л., 1961. С. 155—156.
- ⁶Там же. С. 53.
- ⁷Там же. С. 164.
- ⁸*Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении. М., 1991. С. 44—47, 49.
- ⁹Там же. С. 49.
- ¹⁰Там же. С. 46—47.
- ¹¹Там же. С. 99—100.
- ¹²Там же. С. 101.
- ¹³*Лыгин А.Н.* Общественное движение в России при Александре I: Исторические очерки. СПб., 1871. С. 229—230.

Слепой на скале

- ¹Продолжение Древней российской вивлиофики. Ч. I, содержащая Правду русскую и Судебник царя и великого князя Ивана Васильевича с приложением г. тайного советника В.Н. Татищева. СПб., 1786. С. 175.
- ²*Болтин И.Н.* Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным. [Б.м.] 1788. Т. 11. С. 235—236; Т. 1. С. 174.
- ³ЧОИДР. 1861. Кн. 3. Отд. V. С. 98—134.
- ⁴*Дашкова Екатерина.* Записки. 1743—1810. Л., 1985. С. 79—80.
- ⁵Там же. С. 80—81.
- ⁶*Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России... С. 73.
- ⁷Там же. С. 73—74.
- ⁸*Карамзин Н.М.* Сочинения. Т. 7. СПб., 1835. С. 252.

Немного о консерватизме правящих классов и российских в особенности

- ¹Россия. 1907. 13 мая.
- ²*Витте С.Ю.* Воспоминания. Москва, 1960. Т. 2. С. 498.
- ³Там же. С. 519.

«Конституционные прения»

- ¹Цит. по: *Ланда С.С.* Дух революционных преобразований... М., 1975. С. 159—160.
- ²*Дружинин Н.М.* Государственные крестьяне и реформа Киселева. М.; Л., 1946. Т. 1. С. 270.
- ³Там же.
- ⁴Там же. С. 269.
- ⁵РИО. Т. 73. С. 57. Закревский отвечал на это: «Нет сомнения, что Михайла Орлов, женившись, остепенится и к хорошим своим качествам прибавит скромность, которой у него доселе не доставало» (там же. С. 156).

«Чугуевские веселости»

- ¹РИО. Т. 78. С. 204.
- ²Там же. Т. 73. С. 326.

«Чего хотят сии злодеи?»

¹РИО. Т. 73. С. 16.

²Там же. С. 14—15.

³Там же. С. 536.

⁴Там же. С. 16—17.

«Семеновская история»

¹Там же. С. 108—109.

²Дневник Павла Пущина. Л., 1987. С. 49—52, 93.

³РИО. Т. 73. С. 114.

⁴Ермолов А.П. Письма. С. 42—44.

«Самое трудное ремесло»

¹АКВ. Т. 36. С. 467—469.

²Раевский В.Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск. 1980. Т. I. С. 86, 89—90.

³РИО. Т. 78. С. 91, 259.

⁴Там же. С. 104.

⁵АКВ. Т. 36. С. 158, 163.

⁶РИО. Т. 73. С. 236.

⁷Там же. С. 288—289.

⁸Русский архив. 1886. Кн. 3. С. 327—328.

⁹Записки А.П. Ермолова. С. 147.

¹⁰Русское слово. 1912. № 85.

¹¹РИО. Т. 78. С. 25, 89.

¹²Там же. С. 257.

¹³Лушин М.С. Сочинения, письма, документы. Иркутск, 1988. С. 21.

¹⁴РИО. Т. 78. С. 25.

¹⁵Там же. С. 237.

«Мятеж не может кончиться удачей»

¹Ермолов А.П. Письма. С. 24—25.

²Русская старина. 1872. № 11. С. 371—372.

³Там же.

⁴Семенова А.В. Временное правительство в планах декабристов. М., 1982. С. 115—116.

⁵Там же. С. 115.

⁶ЧОИДР. 1862. Октябрь—декабрь. С. 165.

⁷Русская старина. 1872. № 11. С. 374.

Похмелье на чужом пиру

¹РИО. Т. 73. С. 43.

²Николай Михайлович, вел. кн. Александр I: опыт исторического исследования. СПб., 1913. Т. 2. С. 375.

³РИО. Т. 73. С. 336.

⁴Шильдер Н.К. Указ. соч. Т. 4. С. 194.

⁵Русский архив. 1879. № 4. С. 520.

«История прославит наше время»

¹РИО. Т. 78. С. 63—64, 243—244.

²Там же. С. 70; Т. 73. С. 583.

³Там же. Т. 78. С. 249—250.

⁴Там же. Т. 73. С. 386.

⁵Там же. С. 389, 398.

«Порядок дел в нашем государстве никогда не улучшится»

¹РИО. Т. 73. С. 584.

²Там же. Т. 78. С. 241.

³Там же. С. 269.

⁴Там же. Т. 73. С. 375.

⁵Там же. С. 378, 379, 390, 391.

⁶Там же. С. 378, 404.

⁷Там же. С. 396, 401.

«Кто же может угодить?»

¹РИО. Т. 73. С. 81.

²Там же. Т. 78. С. 139, 287.

³Там же. Т. 73. С. 425.

⁴Там же. Т. 78. С. 141.

⁵Там же. Т. 73. С. 592.

⁶Там же. С. 595.

⁷Цит. по: *Мироненко С.В.* Страницы тайной истории самодержавия. М., 1990. С. 95.

«Оппозиция Его Величества»

¹РИО. Т. 78. С. 86.

²Исторический сборник вольной русской типографии в Лондоне А.И. Герцена и Н.П. Огарева. 1861. Кн. 2. С. 240.

Содержание

Введение	3
Из послужных списков	8
«Государь» или «Отечество»?	18
«Правила»	28
После войны	40
Закревский в Петербурге	43
Воронцов во Франции	47
Ермолов на Кавказе—1	57
Сабанеев в Бессарабии	62
Киселев в Тульчине	69
Ермолов в Персии	75
Ермолов на Кавказе—2	84
«Смирись, Кавказ»?	89
«Бредни препорядочные»	97
Ужасные последствия «речи прекрасной»	103
О вреде модных мыслей	108
Нужны ли России реформы?	115
Слепой на скале	122
Немного о консерватизме правящих классов и российских в особенности	129
«Конституционные прения»	133
«Чугуевские веселости»	138
«Чего хотят сии злодеи»?	138
«Семеновская история»	141
«Самое трудное ремесло»	148
«Мятеж не может кончиться удачей»	159
Похмелье на чужом пиру	164
«История прославит наше время»	166
«Порядок дел в нашем государстве никогда не улучшится»	169
«Кто же может угодить?»	173
«Оппозиция Его Величества»	176
Примечания	183

Михаил Абрамович Давыдов

Оппозиция Его Величества

ЛР № 020219. Подписано в печать 25.10.94.

Тираж 1500 экз.

Отпечатано в ТОО «Принт», заказ № 974

Российский государственный гуманитарный университет
125267 Москва, Миусская пл., 6

